

Софья ШВЕД

ЗАВЕЩАНИЕ

Первые тетради порвала. Хотела и остальные да жаль...

В середине тридцатых годов слова Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — повторялись как заклинание. Действительно, заводы-новостройки начали давать продукцию. Деревня стала получать машины и осваивать их. Колхозы укреплялись. Немалую помощь оказывали деревне энтузиасты колхозного строительства — городские пролетарии. Укреплялась продовольственная база, была упразднена карточная система, закрыты распределители, хлеб продавался повсеместно, правда, по повышенным ценам.

Большие резервы повышения производительности труда вскрывало стахановское движение, однако оно же вызвало и много отрицательных явлений, о которых я хочу рассказать.

Первые успехи стахановского движения — резкий рост производительности труда у одиночек-рабочих в различных отраслях производства, бывший результатом не только хорошего овладения профессией, правильной организации труда, но и того, что эти товарищи, идя на выполнение рекордных заданий, не щадили своих сил, с одной стороны, и требовали создания для себя исключительно благоприятных условий — с другой. Это были отдельные рывки, а не массовое повышение производительности труда. Вместе с тем на основе этих рывков стали строить фантастические планы. Так, например, уже поговаривали о том, что к концу второй пятилетки в стране будет вырабатываться 64 млн тонн стали. (Известно, что к началу войны выплавлялось стали чуть больше, чем в 1936 году, — 18,3 млн тонн.)

Всякие попытки планирования с учетом реальных возможностей объявлялись предельщиной, перестраховкой, ученым мусором, равнением на узкие места и т. д. А жизнь шла своим чередом, и никакого «чуда», «ломки окостенелых научных законов» не произошло.

В этих условиях нетрудно было вызвать массовый психоз искания врагов, где они были и, еще более того, где их и в помине не было. А сверху, навстречу этому психозу, шло сознательное стремление расправиться со всеми, у кого можно было подозревать какие-либо критические мысли.

Массовые аресты начались не в 1937 году, а значительно раньше, постепенно нарастая. 1937-й — год апогея репрессий и полного беззакония в ведении дел, но уже в 1935 году имели место массовые аресты среди работников идеологического фронта.

Август 1935 года. Мы живем на даче под Свердловском, на Шарташе. Мы — это мой муж Иосиф, я и трое сыновей (Вова, Феля и Шурик). У Иосифа отпуска не было, и он каждый день ездил с дачи на работу. В июле я защитила дипломный проект после года работы при штате ЦЗЛ Уралмаша в качестве инженера-исследователя. Институт настоял через наркомат на моем переводе с Уралмаша для работы по кафедре стали. Для меня это было очень нежелательно, но делать нечего: с 1 сентября я должна приступить к работе в институте.

В ночь на 27 августа мы собираемся отправить Вовочку в Москву. Поедет мальчик с Ишмаевым, товарищем Иосифа, который ночью заедет за ним на нашу городскую квартиру. Все мы, кроме маленького Шурика, ночуем в городе. Вечером 26 августа собираемся усталые от предотъездовских волнений и приготовлений. Муж сильно затосковал по Шурику: как это мы могли оставить его одного с малознакомой женщиной? Наверное, плачет там малыш, скучает... Я даже прикрикнула на него: «Брось скулить, ребенок наверняка уже спит. Завтра утром мы с Феликсом пораньше уедем на Шарташ, и обещаю тебе позвонить на работу, а к вечеру сам приедешь и убедишься, что с Шуриком ничего не стряслось». Часов в 11 вечера, не раздеваясь, легли спать. Через некоторое время меня будит Иосиф. Вздрагиваю: что, уже за Вовочкой приехали?

— Нет, за мною!!!

Я долго не могу понять, что значит «за мною», но когда поняла... Случись в этот момент землетрясение, взрыв бомбы в моей комнате — разве это могло бы идти в сравнение с этими двумя словами «за мною»? Разве я могла заранее предположить такое?

Но таково уж, очевидно, свойство человека, что воображение его ничтожно в сравнении с внутренними силами, которые он способен мгновенно мобилизовать под напором событий. Я не помню никаких внешних реакций, даже, наверное, не вскрикнула и спокойно вышла в переднюю комнату, где уже полным ходом шел обыск.

Зазвонил телефон. Ишмаев предупреждал, что сейчас подъедет за Вовочкой. Уполномоченный НКВД, которые слушал Ишмаева вместе с Иосифом, приказывает ответить, что отъезд Володи отменяется, он заболел.

К концу ночи Иосиф совершенно измотался. Он тогда болел малярией, которую весной подхватил на лесозаготовках, будучи уполномоченным по ряду районов (Чермоз, Добрянка и др.). Прислонился к косяку двери; вид, конечно, паршивый, и уполномоченный счел нужным заметить: «Берите пример с вашей жены, какая она бодрая». На что я довольно зло огрызнулась: «Между мною и Коганом разница лишь в том, что он после тяжелого малярийного приступа, а я совершенно здорова».

Вот таким, возле двери, мне и запомнился наш дорогой на всю жизнь. Это было его прощание с домом, с семьей.

Обыск длился долго. Перелистывались все книги, хотя содержанием их явно не интересовались. Более того, муж сам сказал им, что в бюллетенях XV съезда партии имеется текст «Завещания» Ленина, но никто не обратил на это внимания, хотя документ считался секретным (отец был на съезде с гостевым билетом и получил там комплект бюллетеней, в которых по требованию «новой оппозиции» — Крупской, Зиновьева, Каменева и др. — было опубликовано «Завещание»).

Как «вещественное доказательство вины» мужа был взят только один блокнот, о содержании которого я скажу позднее.

Итак, увели! Я проводила Иосифа до машины.

Вернулась в дом, где спали дети, ничего не ведая. Собственно, их постели тоже перерыли, но даже более взрослый Володя ничего толком не понял.

Одна...

Только безграничная вера в Иосифа, вера, что все должно выясниться, стать на свое место, спасали от отчаяния.

А тут сразу обступила масса забот: надо привезти Шурика домой, попытаться узнать что-либо в НКВД о причинах ареста, получить хоть какую-нибудь весточку от Иосифа, заявить о случившемся в свою парторганизацию и т. д. и т. п.

А сумею ли я приступить к работе 1 сентября? Ведь я совсем без денег: почти последние были истрачены на покупки для Вовочки и на железнодорожный билет (который, конечно, пропал).

Первое, что я делаю, беру газеты, книги, одеяло и мчусь в НКВД, чтобы передать Иосифу вместе с запиской. Когда спросила, будет ли ответ, надо мною только посмеялись. К началу рабочего дня я уже в облплане — прошу машину на Шарташ. Мне ее тотчас же дают, и, хотя я ничего не говорю управделами о ночных событиях, он явно в курсе дела и делает вид, что глубоко сочувствует мне, вздыхает, закатывает глаза. Еду на Шарташ. По дороге меня обгоняет машина НКВД. Забираю в присутствии уполномоченных ребенка и вещи, один из уполномоченных садится в мою машину, и едем в город, где тщательно просматриваются все вещи, привезенные с дачи, но, конечно, ничего подозрительного не обнаруживается.

Иду в институт, в партийную организацию. Рассказываю о случившемся. Меня успокаивают, говорят, что все выяснится, знаем тебя давно и доверяем. Это, конечно, сильно поддержало меня.

Но... с 1 сентября я к работе все же не допущена. Меня, собственно, считают сотрудником института, но преподавательской нагрузки не дают и по исследовательской работе никаких конкретных заданий (это после того, что институт настоял на моем переводе с Уралмаша!). А денег нет. Продала часы — мои и Иосифа, но этим исчерпываются наши личные «ценности». Остаются книги. Книги, которые с таким трудом, любовью и знанием дела подбирались Иосифом (а отчасти и мною). И вот их приходится продавать, разорять такую дорогую для нас библиотеку...

О причинах ареста никаких справок не дают и записок от Иосифа не передают до середины сентября. И вдруг я начинаю получать от него одну записку за другой с настойчивыми советами поскорее увезти не только Вовочку, но и малышей к кому-нибудь из родных. Позднее, во время единственного личного свидания, которое мы имели с Иосифом, он объяснил мне, что на допросах в первый период его так много расспрашивали обо мне, что он считал неизбежным и мой арест и поэтому хотел, чтобы ребята были подальше.

В конце сентября я и решила увезти Володю к маме, а Феликса и Шурика к сестре в Гайсин.

Накануне отъезда Вовочка приходит с улицы и спрашивает: «За что нашего папу посадили?» Я попыталась посмеяться над ним, сказала, что папа в больнице, но он все твердил: «Нет, посадили в тюрьму, все ребята так говорят». Володюшку не обманешь, ему уже 11 лет!

Я жила в Свердловске без детей и без постоянного заработка около пяти месяцев. Продавала книги, временно работала то в одной, то в другой библиотеке; пользуясь тем, что я хорошо знала библиотечное дело, приводила в порядок каталоги, занималась классификацией книг. Написала статью для «Уральской металлургии» по теме своей дипломной работы и получила за нее оплату и т. д., но на постоянную работу устроиться никак не могла.

Везде — на ВИЗе и на других предприятиях — очень хорошо принимали, обещали зачислить в штат, но окончательный ответ откладывали до выяснения «некоторых деталей», а когда я приходила вновь, узнавала, что, «к сожалению, мест нет».

Единственно, где я была принята на работу всерьез, это был Челябинский тракторный завод. Мне посоветовали поехать туда, имея в виду, что на заводе была очень большая нужда в инженерно-технических работниках. Из института же получила отличную характеристику, и, несмотря на мои «ужасные» биографические данные, я тут же была зачислена в штат и даже подписалась на заем, как тогда делалось при зачислении. Получила месячный отпуск для устройства личных дел. Иосиф горячо одобрил план переезда, но, когда кончился месячный срок, я поняла, что уехать из Свердловска не могу, так как это может окончательно подорвать силы у мужа, позвонила в Челябинск, просила дать еще месячный срок. Согласились и на это. Но дело Иосифа все тянулось и тянулось, и мне пришлось отказаться от мысли о переезде в Челябинск.

Мне никак не удавалось получить свидание с Иосифом. Но вот, в начале 1936 года сообщают, что в воскресенье такого-то числа я могу получить свидание. А у меня на это же воскресенье вызов на бюро райкома партии в связи с так называемой повторной проверкой партдокументов (партийная чистка имела место в 1933 году). Я вынуждена отказаться от долгожданного свидания, но мне говорят: «Не беспокойтесь, на бюро райкома успеете пойти, это мы вам гарантируем, на свидание приходите обязательно».

Свидание в кабинете следователя. Не помню ничего, кроме страшной бледности Иосифа и моей бесконечной жалости и нежности к нему.

А для работников НКВД это была проверка моего поведения с заключенным перед решением бюро райкома.

На бюро уже разговор был короткий. Коссов — первый секретарь райкома:

— Вы летом видели меня каждый день на даче в столовой, что же вы не рассказали мне о контрреволюционной деятельности Когана?

Я:

— Я и сама ничего не знала и не знаю о такой деятельности Когана.

Коссов:

— Так что же, по-вашему, сажают за революцию или за контрреволюцию?

Я:

— Вообще-то сажают за контрреволюцию, но за что посадили на этот раз, не знаю.

— Ах так? Все!

Прихлопнул мой партбилет рукой: можете идти! Свету не взвидела. Не знаю, как дошла до дверей! Забегая вперед, скажу, что этот Коссов, бывший тульский рабочий-подпольщик, через год с лишним так же, как и многие другие, был арестован, а его жена Шура мыкалась вместе со мною

в лагере для жен, и я ее без всякой злобы поддразнивала: «За что сажают — за революцию или за контрреволюцию?»

Я еще не рассказала, как отнеслись наши друзья и знакомые к аресту мужа. Конечно, большинство из них, встречая меня, перебежали улицу: не раскланяться — нехорошо, а раскланяешься — потом спать не будешь, вдруг кто-нибудь заметил. Но были и такие, что дорогу отнюдь не перебежали, а шли прямо навстречу и смотрели колючими глазами: «Вижу, отлично вижу тебя, но руки врагу не подаю». Этим я, признаться, больше всех уважала, хоть и больно было несказанно. Кажется, и я в этих случаях глаза не опускала, глядела в упор. И при этом постоянно вспоминала слова Толстого о том, что жизнь была бы невыносима, если бы каждый человек не находил нечто достойное и заслуживающее уважения именно в его положении, каким бы несчастным, горьким, а в иных случаях и порочным оно ни казалось со стороны (помните, когда Катюшу Маслову выводят из тюрьмы?).

Были и такие знакомые, которые воровато кланялись, так, чтобы это было и заметно и незаметно одновременно.

Но были и добрые друзья, которые приходили ко мне домой, предлагали свою помощь. И должна сказать, что вела я себя в этих случаях, как сектантка, как настоящая «боярыня Морозова». В короткий срок я всех отвадила, объявляя им, что они проявляют либерализм, ничем не оправданный, что никаких доказательств невиновности Когана у них нет, а посему ходить ко мне они не должны.

Мне надо написать еще так много и в первую очередь хочется рассказать о моих детях. Феликс остался без отца в 5 лет 4 месяца, Шурик в 2 года. Когда я привезла их домой из Гайсина, Феликсу было уже около 6 лет, а Шурику 2,5 года. Сначала я водила их в разные дошкольные учреждения, но вскоре их удалось соединить в одном. Шурик был очень хорош собою, добр, приветлив, умен. Феликс был внешне неприметен, и только самые близкие понимали, что в этом худеньком мальчишке скрываются большие силы и способности.

И Феликса, и Шурика очень любили все соседи. Особенно разительной была история с фотографиями мальчишек. У меня при аресте все фотографии забрали, и если все же сейчас можно найти большое количество детских фотографий в моем альбоме, то спасибо за это надо сказать соседям. Уже в 1947 году, то есть через много лет после исчезновения из Свердловска, я проездом в Серов по командировочным делам остановилась на несколько часов в родном мне городе и помчалась на старую квартиру. Зашла в первую очередь к Заливиным. На пороге встретила меня мать. Наскоро поцеловала и убежала в комнату, стала дергать верхний ящик комода. А он никак не поддается. Я даже обиделась: что ей так срочно нужен комод, что даже как следует не поздоровалась со мною после стольких лет разлуки? Но комод она открыла и тут же подала мне большую пачку любительских фотографий, сделанных когда-то ее сынишкой. Больше десяти лет она бережно хранила фотографии моих детей, так, как будто со дня на день ждала нашего возвращения!

Не менее разительным было другое: еще примерное через 10 лет Шурик тоже заезжал в этот дом, и оказалось, что его еще там помнили, а у одной из малознакомых соседок (Смирновой) оказалась еще одна фотография (моя и Феликса годовалого), склеенная из кусочков, найденных

во дворе после моего ареста. А ведь в каком году это делалось? В 1937-м! За это могли и поплатиться! Преданность Заливиных нашей семье мне была известна уже тогда, но Смирнова?!

Победствовав на разных случайных работах, я в феврале 1936 года поехала в Москву и, вопреки ожиданиям, очень легко получила в наркомате направление на Уралмаш. Забрала малышей из Гайсина и поторопилась в Свердловск: на 28 февраля был назначен суд над Иосифом (и Гребеневым). Суд считался гласным, но нас, членов семьи, в зал заседаний не пустили, а оставили сидеть в коридоре. Кое-что мы все же сумели услышать и понять.

Во-первых — свидетель: мимо нас провели под конвоем заключенного Горохова, работавшего ранее где-то в облисполкоме. На вопросы о том, пытался ли Коган сеять панику, возбуждать общественное мнение против линии партии в связи с трудностями в деревне, Горохов самым категорическим образом утверждал, что Коган, возвращаясь из командировок по хлебозаготовкам, посевным кампаниям и т.д., неизбежно выдвигал перед руководством области деловые и разумные предложения, планы мероприятий, ничего общего не имеющие с паникой, что какие-то сведения, данные им о Когане, искажены, извращены. Его речи были горячей защитой Когана, но никак не обвинительными. В результате, когда нас, членов семей, к концу разбирательства впустили в зал заседаний, мы с великой радостью услышали следующий приговор: «За отсутствием материала для обвинения дело передать на перерасследование в НКВД. Членам семей подсудимых дать возможность принять обвиняемых на поруки».

Нам тут же разъяснили, что по вопросу о взятии на поруки мы можем обратиться завтра в НКВД. Рано утром мы с Надеей Заостровской (женой Гребенева) уже в бюро пропусков НКВД. У каждой в чемоданчике костюм, свежее белье для мужа. Звоню следователю и слышу в ответ грозное: «Не спекулируйте Решением советского суда, о выдаче на поруки и речи быть не может, мы сами обжалуем решение суда» и т.д.

Звонит Надя. Ответ тот же. 9 июня 1936 года новый суд. Мы, жены, за стеклянной перегородкой. Если не все слышно, то, во всяком случае, видно. Горохова, конечно, уже нет, но зато появился новый «свидетель обвинения». Страхов — преподаватель физической химии. Как бывшего преподавателя в институте стали, знала его довольно близко: знания весьма туманные, терялся от каждого вопроса, выходившего за рамки подготовленной им лекции. Такой талантливый студент, как Мырцымов, постоянно «клат его на лопатки», ловя на неправильном выводе математических формул, фактических ошибках и т. д. В конце концов он был заменен другим преподавателем задолго до окончания курса физхимии, чему мы были очень рады, хотя Страхов умел всячески славословить и угождать студентам. Оказалось, что после нашего института он все же был принят на работу в горный институт, где Гребенев руководил кафедрой философии, а Иосиф некоторое время преподавал политэкономии. И вот сей Страхов пришел на суд засвидетельствовать, что Гребенев и Коган допускали в своей работе извращения, идущие вразрез с линией партии! Тянул он еще что-то, тянул, а Коган как гаркнет: «Что вы его слушаете, это же свидетель из Лейпцига!» («Свидетель из Лейпцига» стало нарицательным именем всякого лжесвидетельства после процесса Димитрова.) И конечно, Коган тут получил грозное предупреждение от председателя суда. Но самое главное впереди: у прокурора в руках появился тот самый блокнот Иосифа, который (единственный) был изъят при обыске. И что же в блокноте? Записи, относящиеся к докладу Рыкова, приезжавшего в Свердловск. Я хорошо помнила эти записи, так как по ним Иосиф мне рассказывал о содержании доклада. В те из них, которые послужили поводом для обвинения Когана в приверженности к правым уклонистам: 1) Рыков рассказал, что Ворошилов считает идеологическое состояние крестьянской части армии неудовлетворительным; 2) «пужает»

кулацким восстанием. «Пужает» относится к Рыкову, и казалось бы, что уже одно это слово, взятое в кавычки самим Коганом, является доказательством того, что он не сочувствовал Рыкову, а критиковал его. Но не так рассудил прокурор. Коган не просто защищал себя, а со всей страстью старого пропагандиста, агитатора разоблачал глупость и бездарность следствия, обвинения. Надя меня подтолкнула: «Смотри, смотри, у него уже вся спина мокрая, зачем так горячиться?», на что я огрызнулась — лучше быть с мокрой спиной, чем политической мокрой курицей (таким на суде выглядел Гребенев). И что же? Приговор: Гребенева освободить. Когану — 7 лет заключения. Эти 7 лет можно было объяснить только дерзким, непокорным поведением на суде (а может быть, и на предварительном следствии, но сие мне не известно).

Я тут же помчалась к начальнику тюрьмы узнать, будет ли мне дана возможность поселиться вместе с детьми там, где будет отбывать срок наказания Коган. Но начальник тюрьмы отечески велел не торопиться с такими вопросами, вероятно, Коган еще подаст апелляцию, и неизвестно, что будет впереди. Да, он подал апелляцию. В ожидании решения Верховного суда получил в тюрьме какую-то работу и единственное личное свидание с семьей без двойных решеток и без следователя, хотя и в присутствии дежурного.

Наши свидания... Когда они давались в тюрьме, между мною и Иосифом стояли две проволочные решетки на расстоянии примерно метра одна от другой. Дежурный расхаживал между решетками, но помеха не в нем. Редко, редко удавалось услышать друг друга из-за того, что одновременно «встречались» до двадцати пар, стоял сплошной рев, крик, плач детей. Но видели глаза: ласковые, растерянные, рвущиеся к тебе, спрашивающие... О, как много говорили глаза из-за двойной решетки!

В НКВД нам давали свидания в кабинете следователя. Вероятно, Иосиф, идя на свидание, понимал, так же как и я, что идет на очную ставку, но на самом свидании мы совершенно забывали об этом и просто радовались встрече. Предпоследнее свидание происходило в декабре 1936 года. Иосиф уговаривал меня носить поменьше пищи «Ты еще чужих контрреволюционеров кормишь», на что я ответила: «У меня, по-моему, своих контрреволюционеров нет». Он: «Как сказать», а сам смеется.

Последнее свидание готовилось следователем задолго. Ко мне домой пришел молодой человек. Поздоровался по-немецки, спрашивает: «Шпрехен зи дойч?» Отвечаю: «Я вас не понимаю». Он заговорщически кивает на дверь, на стены. Говорю резко: «Что вам надо, говорите по-русски или уходите». И тут он на чистейшем русском языке начинает рассказывать, что сидел с Коганом в одной камере, Коган очень болен, у него высокая температура, головные боли, бред. Особенно напирал на бред, ведь Коган может наговорить ужасные вещи, и это его погубит.

Я прерываю его излияния:

— Если у Когана бред, тем лучше, как раз и выяснится, что ему нечего скрывать, может быть, хоть таким образом скорее завершится следствие. — И показала ему на дверь. Он еще что-то долго лопотал о чувстве дружбы к Когану и желании ему помочь, но отвечать ему я перестала.

Дальше — телефонный звонок: «Хочу передать привет от Когана». Бросаю трубку — раз, другой, пятый. Книжки, возвращенные Иосифом из тюрьмы, мне предагают получить на квартире дежурного по тюрьме, иду. Звонят на работу: немедленно явиться в кабинет капитана Ревина по срочному делу, пропуск уже заказан. Понимая, что этим звонком меня хотят напугать, и не

желая «пугаться», я, доехав до площади 1905 года, не иду прямо в НКВД, а захожу в гастроном, покупаю самые дорогие яства, которые мне тогда были совсем не по карману, иду к Ревинуву и сразу же говорю ему, что решила воспользоваться его вызовом и сделать передачу Когану. Он взвился:

— Что за шутки, вас вызывают по серьезнейшему делу, а вы занимаетесь ерундой!

— В чем же дело? Ревинув грозно:

— Как вы смотрите на то, что Коган, сидя в камере с немецким шпионом, рассказывал ему о секретнейшем партийном документе — завещании Ленина?

Я:

— Конечно, рассказывать об этом документе человеку, о котором заведомо знаешь, что он немецкий шпион, — преступление. Но я думаю, что такого рассказа и не могло быть, что и шпион не шпион, может быть, это как раз тот молодой человек, который ко мне на днях приходил?

И тут я начинаю ему рассказывать о «заграничном» посетителе, но он сердито обрывает меня: «Вы свободны». Продукты, конечно, не принял, но вскоре мне удалась передача в тюрьме. В уголке сопроводительной записала: «Чем ты болен?» — и получила ответ: «Здоров как бык».

Я добиваюсь свидания. Мне все отказывают на том основании, что Коган тяжело болен.. Наконец в начале февраля 1937 года мне назначают свидание в НКВД, У следователя, и даже разрешают привести с собою детей. Назначили на 9 часов вечера. Являюсь, конечно, без опоздания. На мой звонок из комендатуры отвечают: «Ждите, пошлем за Коганом в тюрьму». Ждем час, Другой — ответ все тот же. Часов в 12 ночи мне отвечают, что привезти Когана нельзя, у него высокая температура. Заявляю, что я с детьми не уйду, пока не будет дано свидание. И настояла: в 1 час ночи нас повели в кабинет следователя, где уже сидел Иосиф — живой и здоровый, а следователь не счел даже нужным как-то объяснить версию о болезни.

Во время разговора с Иосифом я сказала: «То, что ты мне говорил в прошлый раз о контрреволюционерах, я, конечно, всерьез не принимаю, я этому не верю».

И вот, когда свидание кончилось и мы все вышли в приемную, где я стала одевать ребят, Ревинув велел секретарю задержать Когана, а меня препроводить в его кабинет.

Ревинув: «К вам вопрос. Что это вы сказали Когану, что не верите ему?»

Я сразу же напомнила, что Коган на прошлом свидании пошутил о контрреволюционерах, а я действительно не верю, что он является таковым.

— Ну все, вы свободны.

Я тогда не придавала никакого значения этому инциденту, но позднее, когда мне стали известны тогдашние методы следствия, как добивались хоть строчки от близких заключенному людей, хоть отдаленнейшего намека на предательство, чтобы нанести жертве моральную травму, — когда я узнала все это, я поняла, сколькими неприятностями для Когана мог быть чреват мимолетный вызов к следователю: ведь при случае Ревинув мог намекнуть Когану, что его жена работает заодно со следователем.

Так кончилось наше последнее свидание.

* * *

Я еще не раз буду возвращаться к воспоминаниям о муже, но сейчас я все же расскажу то, что мне известно о его судьбе после второго суда.

Помните, его осудили на 7 лет и он подал апелляцию? В начале августа я получила телеграмму из Москвы от сестры Иосифа Стаей, что Верховный суд снизил срок до трех лет. Бегу с этой телеграммой в тюрьму к Иосифу, но, оказывается, его в тюрьме уже нет, он снова переведен в НКВД.

12 августа мы вместе с сестрой Иосифа Ревеккой, специально приехавшей из Челябинска, получаем свидание у следователя. Он с любезной улыбкой сообщает нам, что решение Верховного суда не имеет силы, так же как и решение областного суда.

В дальнейшем, при очередных передачах, встречаю в НКВД жену Гребенева — он снова арестован, и жену Медникова — председателя Уралплана, члена партии с дореволюционным стажем, делегата VI съезда партии (июль 1917 года). Узнаю также, что арестован Колегаев (помните, в кино «6 июля»: это тот самый левый эсер, бывший наркомзем, который пришел к Ленину с покаянием и заявил о выходе из партии левых эсеров?). Вот этот самый Колегаев был начальником Уралцветмета и по работе был связан с Уралпланом.

Новые заключенные, новое следствие, и все это происходит на фоне судебного процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими.

А в январе 1937 года начинается процесс над Пятаковым и другими хозяйственниками (в это время и покончил с собой Орджоникидзе). В «Правде» публикуются показания Пятакова, и там черным по белому написано: «На Урале была создана группа Медникова и Колегаева». Больше ничего, но и этого вполне достаточно было...

Я еще тогда ничего не знала о том, какими методами добивались иных показаний, что применялись гипноз, шантаж, пытки, против которых не всегда удавалось устоять даже очень сильным людям.

Иосиф был связан по работе с Колегаевым и с Медниковым, а с последним поддерживал и дружеские связи...

Все, что я тогда делала, все, о чем думала, что происходило вокруг, — все окрашивалось в один цвет, все приобретало одно значение, все сплеталось в один тугий узел — «группа Медникова и Колегаева на Урале».

В первой половине апреля 1937 года я получила открытку от Иосифа (совершенно неожиданно, впервые по почте). Он писал: «Вот мне уже скоро 40 лет, но считай, что мне дважды по 20». Дальше писал, что надеется последующие дни рождения встретить вместе с другом, с которым так хорошо было читать в далеком прошлом труды Павлова и Маркса и совсем недавно вместе же всплкнуть на просмотре «Чапаева».

О чем же еще можно было писать в открытке? Я ей, конечно, очень обрадовалась, тем более что никаких свиданий нам не давали и я даже не была уверена в том, что до него доходят передачи. Но даже и эта открытка показалась мне не вполне естественной... Все та же призма: «группа на Урале».

Я больше не могла молчать, делать вид, что я ничего не знаю, ничего не замечаю вокруг, я сознавала свой партийный долг и не могла быть в положении чеховской Душечки, которая заранее все оправдывает.

И в первую очередь мне надо было сказать самому Иосифу о том, что я думаю и что чувствую. И я ему ответила открыткой.

«Я верю, что ты такой, каким я тебя знала долгие годы, что ты честный коммунист, но если ты все же сознательно чем-нибудь шкодил, то знай, что я прокляну тебя, а когда наши дети вырастут, они присоединят свои проклятия».

Хорошо запомнила, что обратный адрес я написала на имя Швед-Коган Софьи Ароновны. Так назвала я себя тогда, кажется, впервые, и сделала я это для того, чтобы и себя и Иосифа убедить в том, что я в него верю,— верю, несмотря ни на что! Я надеялась, что Иосиф поймет меня, ну а если он виновен, то чем больнее будет ему, тем лучше.

Так думала я тогда, когда — повторяю — еще ничего не знала об ужасных методах следствия и ложных показаниях, самоговорах.

Моя открытка оказалась последним посланием в Свердловскую тюрьму. Тем тяжелее она могла подействовать на мужа и тем тяжелее о ней вспоминать.

23 апреля очередную передачу не приняли, а 3 мая (передачи принимались через 10 дней) мне сообщили, что Коган осужден на 10 лет и отправлен по месту назначения. Аналогичные ответы в этот день получили десятки жен. Некоторым сообщили, что муж приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение.

Просочились и записки, письма, в них осужденные делали сообщения примерно такого характера: «Меня вызвали, объявили, что я террорист, изменник Родины, дали срок...» (10 или 15 лет, позднее стали давать 25 лет.—Авт.).

Больше я от Иосифа ничего не получала. Очевидно, его письма ко мне считали нужным задерживать, но Рива, моя сестра, написала мне из роддома (родила Валерия 14 августа 1937 года): «Пиши Вологда п/я №6: о тебе очень беспокоятся».

И как я тогда рада была, что за несколько дней до собственного ареста успела все же отправить не только письмо, но и 50 рублей.

В 1942 году, как только я освободилась, пошла на почту и отправила два «разведывательных» перевода в Воркуталаг и в Колымлаг, но оба перевода пришли обратно, хотя много позднее я узнала, что Иосиф как раз содержался в Воркуталаге.

На многочисленные запросы получала стандартные ответы: «Содержится в особорежимных лагерях без права переписки». И только в 1947 году в Челябинске получила радостную вест: жив, работает, срок кончается 10 сентября 1947 года.

Тогда кое-кого успели освободить (был такой короткий период, и я тоже ждала чуда). Но прошли все сроки, а с ними и надежды.

Началась новая волна репрессий. После смерти Сталина в ответ на мои многочисленные запросы и заявления в различные инстанции я долгое время получав лишь сообщения о пересмотре дела, о реабилитации, о том, что Коган ранее содержался в Воркуталаге, ничего не сообщалось о его дальнейшей судьбе — «местопребывание не известно». Наконец летом 1956- го меня вызвали в Алексинское управление КГБ и объявили устно, что Коган умер в феврале 1943 года от инфаркта миокарда. Смерть зарегистрирована 22 мая 1956 года(!), то есть зарегистрирована специально для того, чтобы придать гнусный вид «законности» всему сообщению.

Умер ли действительно в 1943 году, жив ли был 1947 году, как это явствовало из официальной справки того времени? Сопоставьте все и поймете всю меру ужаса и произвола! Ведь люди жили в лагерях без фамилий, за номерами. И «номер» могли потерять, убить, для того чтобы воспользоваться его жалким пайком, или, наоборот, считать живущим, когда его уже не было в живых, для этой же цели. А может быть, он еще жив был, когда его смерть была уже зарегистрирована, но был он в таком состоянии, что не способен был восстановить свое имя и связаться с родными.

Все может быть, все может быть!

* * *

Те, кто был в положении Когана, не сражались боях Отечественной, но они были сражены. Они не знали ужасов войны, но не знали и радостей побед. Их растоптали.

Над их могилами не горит вечный огонь, их мученическую смерть не считали даже нужным своевременно отметить в простом загсовом гробсбухе.

Пусть вечно горит огонь сочувствия к ним в наших сердцах! Там, где они погибли, все заросло травой. Никто и ничто в тех местах не расскажет нам о людях с горячей кровью большевиков, заживо похороненных, обреченных на гибель своими же братьями — своими каинами.

Вечная слава, вечная память бойцам, погибшим на фронтах за свою Родину!

Вечная память невинно погибшим в лагерях и тюрьмах своей Родины!

* * *

Нет, я не могу еще на этом расстаться со своими воспоминаниями об Иосифе. Надо еще рассказывать и рассказывать о человеке, чья смерть была зарегистрирована в Вологодском загсе 22 мая 1956 года.

Основное призвание Когана, по-моему, агитатор, пропагандист, хотя он с успехом вел и плановую работу, а незадолго до своего ареста он мне говорил, что пора ему с плановой работы переходить на непосредственно хозяйственную. «Одно дело других поучать, как и что делать, а другое — самому быть организатором народного хозяйства». И не сомневаюсь, что если бы не арест, он свое желание выполнил бы. Слова на ветер он не бросал. Но от преподавательской, пропагандистской работы полностью отказаться он, вероятно, не смог бы. Он любил эту работу, и она любила его. Еще в Серпухове фабричные организации, делая заявки на лектора, докладчика, обычно просили прислать Когана. А когда на семинарах коллеги спрашивали его, в чем секрет успеха преподавательской работы, он неизменно отвечал: «Не пытайся убеждать другого в том, в чем ты сам не убежден и не уверен до конца. Откажись от мысли быть педагогом, если для тебя каждое занятие, лекция, доклад не являются маленьким праздником. И само собой разумеется,

что нужны еще твердые, всесторонние знания предмета». Но я думаю, что его успех в работе предопределялся еще и чутьем, добрым контактом в отношениях с любой аудиторией, личным обаянием. Это обаяние оказывало свое влияние даже на угрюмых тюремных служителей: я видела, с какой улыбкой они забирали у меня сумки с передачей для него и «не замечали» наши взаимные записочки к описи посылаемого. Много помогал Иосифу «веселый чертик» — чувство юмора и любовь к шутке. Но этот же «веселый чертик», вероятно, немало вредил ему. Я уже рассказывала о его дерзком поведении на суде.

Все то время, что он находился в заключении в Свердловске, он очень много учился, читал, строго придерживаясь определенного плана и установленного им режима дня. И в тюрьме он не забывал свой девиз: «Не засоряй свою голову пустяками».

Иосиф очень любил детей, любил повозиться с ними, рассказать сказку. Любил он и петь детям, и петь вместе с ними. И вообще до песен был большой охотник. Из любой поездки привозил новые для нас народные песни, частушки. После каждого посещения театра — новые арии... Вот такой он был человек. И никто никогда не узнает, какие муки были ему еще уготованы после апреля 1937 года.

* * *

Из того, что я писала о начале массовых арестов до 1937 года, могут сделать вывод, что тридцать седьмой год отличается лишь количеством арестованных. Это будет совершенно неверно. Тридцать седьмой - это новое качество. Если в предыдущие годы людей так или иначе допрашивали, судили, суд в какой-то степени проявлял независимость, то в тридцать седьмом году любому человеку можно было навесить ярлык «враг народа», «изменник родины», «террорист», а Особое совещание, заменившее тогда суд, выносило приговоры заочно, по наветам. Не большую законность проявляли и трибуналы, осуждавшие, как правило, на смерть.

Вы помните, каким неожиданным был для нас арест Иосифа в 1935 году, но в тридцать седьмом этого ожидали почти все — по крайней мере все интеллигенты, все партийные, хозяйственные, военные работники (прочитайте у Кренкеля в одном из номеров «Нового мира» за 1970 год, как он и его жена испугались, когда к ним постучал товарищ после полуночи, как Кренкель выговаривал ему за такую неосмотрительность).

Тридцать седьмой год — это всеобщее недоверие друг к другу.

Тридцать седьмой год — это гигантский спрос на клевету и «разоблачения». И спрос рождал предложение! Некоторые «разоблачали» из искренних побуждений, поддавшись общей мании искания врагов, другие клеветали без зазрения совести из желания выслужиться, освободить для себя хорошую должность или просто насолить соседу.

Тридцать седьмой год — это полное беззаконие в методах следствия, вымогательство ложных показаний и саморазоблачений.

Тридцать седьмой год — это фальсификация судебных процессов.

Тридцать седьмой год — это буквально «охота за ведьмами». Ни с чем его не сравнишь. Если верить тем обвинениям, которые тогда фабриковались, то все руководство партии, начиная с председателя Коминтерна (Зиновьева) и кончая любым секретарем обкома партии, было

завербовано в первые годы Советской власти иностранными разведками и все годы Советской власти вело подрывную, шпионскую работу.

Конечно, в период XX съезда партии и непосредственно после него нельзя было ожидать оправдания всех невинно казненных. Такова особенность «революции сверху», что она не может выступить с открытым забралом, вынуждена медленно продвигаться вперед, пока народ «привыкнет» к новым веяниям, к новым оценкам и практической линии. И та работа, которая была проделана в пятидесятые годы, заслуживает огромной благодарности. История ее не забудет. Уже одно то, что было издано более полное собрание сочинений Ленина, в которое вошли многие документы, державшиеся Сталиным в секрете, что была переиздана книжка Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», было смелым шагом, за который нельзя не благодарить Хрущева (напомню, что книжка Джона Рида — единственное в своем роде свидетельство событий Октября 1917 года, написанное по свежим следам, что Ленин в своем предисловии к этой книжке писал о правдивости ее и выражал пожелание, чтобы она была издана на всех языках мира, а Сталин держал ее долгие годы под запретом).

В шестидесятые годы не только не было дальнейшего продвижения по пути восстановления исторической истины, но сделан шаг назад.

Позднее я несколько подробнее расскажу о методах суда и следствия, которые применялись в тридцать седьмом году. Летом этого года до моего ареста я ничего о них не знала. И мне тогда казалось, как и многим, многим другим, что не может быть «дыма без огня». Очевидно, все-таки какие-то крупные преступления обнаружены, пусть далеко не все виноваты, но не всех же зря казнят. Особенно убедительными казались некоторые процессы с «саморазоблачением», «раскаянием» и т. д. О «недозволенных методах» мы ведь еще ничего не знали!

Да, тридцать седьмой год — это особое качество...

Но нельзя не видеть, что широко задуманная физическая расправа была подготовлена длительной работой по моральному растлению партии и народа. И поистине смешны и нелепы исторические работы, берущие под защиту все, что происходило до 1937 года, объявляющие любое высказывание о бюрократизации партии и советского государства, о нарушении внутривнутрипартийной демократии и т. д. «вражескими измышлениями», «клеветой». Как легко писать историю по готовому трафарету! Небольшой реверанс в сторону XX съезда партии, оговорка относительно вредного влияния культа личности — вот все, на что оказались способными многие современные историки.

* * *

Когда я получила в Москве направление на Уралмаш, мне не удалось устроиться по специальности. На Уралмаше, как и на всех других предприятиях, в 1936 году развертывалась колоссальная работа по технической учебе (стахановские курсы, техминимум, курсы мастеров). Нужны были методисты и организаторы по этой работе. Вот мне и заявили в отделе кадров, что работу могут предоставить только по линии техучебы. Может быть, если бы я обратилась непосредственно в ЦЗЛ, нашелся бы смелый человек, который потребовал бы моего направления в лабораторию, где я успешно работала в 1934—1935 годах, но в моем положении я считала невозможным втравливать кого-либо в свои личные дела. Пришлось согласиться на должность методиста по техучебе. Засела за составление программ по самым различным специальностям: от ухода за газогенератором до заточки резцов. Сама я взяла на себя преподавание в группе

монтеров. Должна сказать, что со временем втянулась в работу и она казалась мне уже интересней.

Но вот наступает лето 1937 года. Очевидно, кто-то дал указание о моем увольнении, и мне предлагают немедленно взять месячный отпуск. Через месяц говорят, что отпуск продлен еще на месяц. На мой прямой вопрос, значит ли это увольнение, отвечают: нет, пока нет, но если вы сами этого пожелаете, возражений не будет.

Ищу работу. Где только не перебивалась! Обещали с 1 сентября работу в школе глухонемых, но и тут отказ. Вот уже наступило 1 сентября. Отлично помню весь этот день. Домой идти я не хотела: пусть соседи не видят, как я мечусь без работы.

Иду в лес... Сажу и думаю... Приходит успокоительная мысль: поеду в Одессу к своему старому учителю и большому другу — Фортунату Викторовичу Каминскому. В 1929 году он приехал к нам в Серпухов вместе с женой погостить и познакомиться с интересным пролетарским центром. У него и у его «старушки» своих детей нет, тем сильнее они умеют любить чужих детей. К родственникам не поедешь, а к ним можно, люди они бесстрашные: недаром в молодости, к 33 годам, наш Ф. В. уже имел за своей спиной 11 лет каторги и ссылки. Может быть, и работу какую-нибудь они для меня подыщут в своем собственном научном и литературном «хозяйстве». Вот так я себя утешала и не думала, что ближайшая ночь сама кардинально «разрешиет» все трудности.

А ночью пришли и предъявили ордер на обыск (мужчина и женщина). Всю ночь рылись в книгах (их еще оставалось порядочно). Я была спокойна: ведь ордер только на обыск. И лишь под утро мне говорят: «Теперь одевайте детей и сами собирайтесь».

— Зачем, ведь у вас ордер не на арест?— Вынимают другую бумажку: «Арестовать и изъять детей» (!)

Я уже говорила, что в тридцать седьмом году удивить чем-либо трудно было. Бужу своего старшего сыночка: «Нам придется на время расстаться. Вы с Шуриком поживете в детском садике до моего возвращения». Феликс начинает быстро одеваться: «Мама, коньки взять?» Он мечтал о коньках, вероятно, все лето, так как я купила их уже к самому концу прошлой зимы.

Бужу Шурочку, одеваю, но, когда дошла до чулочек, не выдержала, упала головой на его коленко, милое мое коленко, и зарыдала. Кое-как справилась с собою, а Шурик, уже одетый, стоит среди комнаты:

- Мама, ты скоро вернешься?

Да, сынок, помнишь, как в прошлом году ты был на даче.

- Так до-ол-го!— весь покраснел, глазки налились слезами, но сдержался, не заплакал. (На даче-то он был всего три недели, а сейчас расставались мы с ним на 6 лет с лишним!)

Поехали вместе. На улице Гоголя машину остановили и ребят повели в детский приемник. Я попросила, чтобы мне дали поглядеть, где будут жить ребята. И мне разрешили.

Я вошла в приемник, меня повели в детскую спальню, и тут я сразу поняла, что начались массовые аресты жен, как таковых. В огромной спальне стояли впритык друг к дружке детские кроватки. Малыши спали, но ребята постарше, очевидно, спать не могли. Когда

вошла, поднялось множество детских головок и из угла раздался голосок: «Тетя Соня, и вас забрали?» то был Юра Гребенев, лет восьми.

— И Светочка с тобою?

— Да, она вот спит рядом, а маму забрали вчера, и тут все дети, у кого забрали мам.

Прошу, чтобы мне показали уборную, в которую ходят ребята. Грязь по колени. Я, забыв о своем положении, взрываюсь: «Вот кого надо сажать в тюрьму — людей, которые смеют держать детей в такой антисанитарии!»

Как это ни странно, я ничего больше не запомнила из того, что видела и слышала в этом приемнике, даже прощание с детьми совершенно забыто.

Хочу рассказать все, что мне стало известно о приемниках этого типа в дальнейшем.

Мои сыновья смутно помнят, что было на улице Гоголя, но от других ребят мне стало известно, что их не выпускали за ворота. Дети постарше, конечно, искали возможности связаться с родственниками. И вот они догадались действовать таким способом: писали письма, заворачивали их в записки с просьбой отправить письмо по нужному адресу, бросали через забор все послание, привязанное к камушку, и... представьте, что некоторые письма доходили по адресу. Ведь и в те тяжелые времена находились люди, которые способны были рисковать своим благополучием ради других. К тому же многие, вероятно, знали, какой печальный дом находится на улице Гоголя, и старались помочь детям.

* * *

Меня привезли в тюрьму. Собственно, это даже не тюрьма, а школа на улице Декабристов, недалеко от обсерватории. В настоящей тюрьме, несмотря на страшное «уплотнение» обитателей ее, мест уже нет. Пришлось наспех открыть филиалы. И вот мы — жены осужденных мужей — заняли такой филиал: высокий забор из горбылей, несколько рядов колючей проволоки над ним, сторожевые вышки по углам забора; наглухо забитые горбылями же окна классов, из которых вынесена вся мебель, и — тюрьма готова.

В классе, который стал моей первой камерой, на голом полу вповалку лежали или сидели уже около тридцати женщин. Устроилась недалеко от двери, и начинаем знакомиться.

Тут жена первого секретаря горкома партии Кузнецова — Аня Ивановская, бывшая студентка бывшего института марксизма-ленинизма; Седашева — экономист, жена начальника Востокостали; тут Лекомцева Анна Васильевна, ставившая вместо подписи крест, довольно опустившаяся старушка, — жена кочегара с КВЖД (все, кто работал на Китайско-Восточной железной дороге, были репрессированы, как и подавляющее большинство ездивших в заграничные командировки или просто хорошо знавших иностранные языки).

Я сразу попала в центр внимания, так как мне все-таки посчастливилось побывать в детском приемнике (об уборной я, конечно, рассказывать матерям не стала).

В следующую ночь продолжали привозить женщин. Но особенно запомнилась ночь на 4 сентября, когда в нашу камеру затолкали Владимирову, жену директора Уралмаша. Только несколько дней назад она вернулась из Москвы, где Калинин ей, как активной участнице движения жен за культуру производства, торжественно вручил орден Ленина, а сегодня ночью арестовали сразу

всю семью: Леонида Сергеевича Владимиров, ее, Женю, и двух дочерей (старшей уже было лет 15). Владимиров — крупный хозяйственник, герой гражданской войны. Это о нем весной 1937 года в одной из передовиц «Правда» писала, что некоторые партийные организации потеряли чувство меры в критике и даже такой прославленный директор, как Владимиров, подвергается нападкам.

И вот Женя Владимировна с нами. Взволнованно рассказывает о дочерях, о том, как она вместе с Леной росла в Одессе на Пересыпи, как вместе воевали в гражданскую войну и там же поженились. Ее, Женю, очень легко было представить «Анкой-пулеметчицей», ставшей высокообразованной, культурной и обаятельной женщиной. Через несколько дней Женю вызвали к следователю. Вернулась веселая: следователь заверил, что девочки хорошо устроены, старшая продолжает заниматься музыкой и т. д. Забегая вперед, расскажу то, что знаю о Владимировой уже со слов других.

Когда нас отправили в Нарым, Владимировна осталась в Свердловской тюрьме. Ей сочинили «личное дело», если верить которому, она, шефствуя над рабочими столовыми, подсыпала в пищу толченое стекло. Вот такие гурманы тогда ходили по земле, вот такие гурманы тогда ходили по земле, вот такие пикантные блюда умели стряпать!

Женя в той же тюрьме, где, по ее расчетам, находится Владимиров. Каким-то образом ей удалось устроить наблюдательный пункт через щель, образуемую «корытом» (деревянное ограждение на окне) и окном. Для этого ей приходилось забираться высоко, под самый потолок: чего не сделаешь ради того, чтобы увидеть мужа среди «гуляющих» заключенных. Но в один злосчастный день Женя увидела среди заключенных женщин свою старшую девочку. Так вот они — «занятия музыкой!» Женя теряет сознание и падает с высоты. Ее уносят в больницу с тяжелым сотрясением мозга. Больше о ней и о ее семье мне ничего не известно.

* * *

Большинство жен пришли в тюрьму легко одетыми без всяких запасных вещей и постели; пища отвратительная, но не это было, конечно, нашей заботой: дети, дети, что будет с детьми?! Ведь мы полностью отрезаны от мира, нам не разрешают писать письма, вызывать родных. Мне повезло: соседи сразу поехали в Челябинск, нашли моих родственников (я уже тогда завела такую традицию: оставлять запасные ключи и адреса родных у соседей; продолжаю ее по сей день) и сообщили им о моем аресте и исчезновении детей (они предполагали, что дети находятся со мною в тюрьме).

Приезжает сестра Иосифа Соня, ей удается передать мне саквояж, наполненный теплыми вещами и пищей, а самое главное — записку, в которой сообщает, что сегодня же вечером увезет Феликса и Шурика к себе в Челябинск. Радость? Погодите, это еще не все. Проходит неделя-другая, опять приезжает Соня и опять пишет, что, вероятно, сегодня она увезет ребят. Я в полном недоумении, ведь она еще в первый раз собиралась их увезти. Стучу в двери, кричу, ору, рыдаю, требую свидания, чтобы узнать, в чем дело. Но все напрасно. Уже в 1943 году я узнала, как все было: детей отдавали из детприемника только родственникам матери. Родственникам отца их получать нельзя было, и Соне их обещали выдать «по ошибке», а она поторопилась порадовать меня. Во второй приезд она уже писала осторожно — «вероятно, увезу». Когда она приехала в третий раз, ни меня, ни детей в Свердловске уже не было. Тогда она обратилась в Москву, в НКВД, с просьбой о выдаче ребят. И вот, представьте картину: Соня получает вызов в Челябинское управление НКВД на 10 часов утра такого-то дня. «Вызовы» были сплошь да рядом способом ареста. Не

сомневалась и Соня с мужем, что именно для ареста ее вызывают в НКВД. Муж Сони, Абраша, идет вслед за нею, несет узелок с постелью, пищей. Вошла... А минут через 15 вернулась, смеется: пришло разрешение забрать Феликса и Шурика, только находятся они уже далеко – в городе Бердске Новосибирской области. Абраша берет отпуск на несколько дней и летит в Новосибирск. В детском доме ему говорят, что там находится один лишь Феликс, а Шурик отправлен куда-то дальше, в Иркутскую область. Абраша торопится и, не повидав даже Феликса, летит дальше, в Иркутск, но и там Шурика тоже нет. Возвращается в Бердск, с тем чтобы забрать хоть одного Феликса, и тут только узнает, что Шурик тоже в Бердске, но отправлен из детдома в больницу (после кори у него тяжелое осложнение на уши). Абраша одевает ребят в привезенные с собою зимние вещи и увозит их в Челябинск, где им пришлось прожить всего несколько месяцев.

* * *

А я в тюрьме, и сколько ни кричи, ни требуй объяснений — все напрасно. Вижу вокруг себя страшно позеленевшие лица, понимаю, что и я не лучше выгляжу, и начинаю агитировать всех за «оздоровительную кампанию»: раньше всего давайте утром делать гимнастику в коридоре, куда нас выводят на «оправку». Сама показываю пример: шагаю по коридору (в меру дозволенного) и дышу «свежим» воздухом. Да, таким он мне казался в сравнении с воздухом в камере — классе с забитыми окнами. Но когда нас в первый раз повезли в «черном вороне» (так называли тогда машины для заключенных) в баню и вернулись мы в тот же коридор с улицы, у меня голова закружилась от вони, страшного смрада. После этого и у меня пропала охота заниматься гимнастикой на «свежем воздухе» в коридоре.

Расскажу об одной колоритной личности. У нас как-то появился новый сменный надзиратель. Глядя на него со своего места на полу снизу вверх, я сначала увидела толстое пузо с широким ремнем, затем бычью шею и затылок в фиолетовых складках, лихо закрученные усы, мясистые щеки и нос картошкой в синих прожилках, заплывшие глазки и лохматые брови. Как видите, мое описание мало отличается от обычного описания царских держиморд. Таким он и был на вид. Даже страшно стало: я еще помнила свой детский трепет перед жандармом, урядником. Этого нам еще не хватало! Ахнула не только я, но и все остальные женщины. Звали его Халдин. Фамилия тоже подходящая.

И бывает же так! Именно этот Халдин оказался нашим ангелом-спасителем. Я уже упоминала, что большинство женщин пришли в тюрьму в одних легких платьях. Так вот, этот Халдин организовал какую-то бригаду, которая доставала из опечатанных квартир одежду женщинам. Это делалось вполне легально, а нелегально...

Подойдет к какой-нибудь женщине и почти грозно: «Ну, что пригорюнилась, небось вспомнила каких-нибудь родственников неладных?» А та, уже зная его уловки, скажет: «Как не горевать, знала бы мама в Харькове, что ее внук в приемнике в Челябинске, сразу бы приехала за ним» — и тут же невзначай скажет и адрес и фамилию бабушки, а Халдин и не моргнет, только через несколько дней придет и торжественно объявит: «Догадливая у вас матушка: уже приезжала и ребенка забрала». Очевидно, посылал телеграммы, и, конечно, на свои деньги. В ночную смену он сидел на телефонах и тут же, почти не стесняясь, принимал «заявки»: передачи и записки для меня от Сони, конечно, тоже прошли через Халдина. А однажды, когда обрадованная им Седашева закатила истерику, наш Халдин тоже стал платочком вытирать глаза. После его ухода из камеры женщины единодушно решили, что секрет его отчаянно-самоотверженных поступков в том, что он недавно похоронил жену, и если его самого арестуют, то поплакать о нем и посидеть за него в «школе» уже некому будет. Конечно, это была шутка, но так или иначе «товарищ

Халдин», как мы его звали, хотя все остальные надзиратели запрещали нам произносить слово «товарищ», — товарищ Халдин был редким экземпляром даже среди самых порядочных людей.

В конце октября нас стали готовить к этапу — постепенно класс за классом вызывали в канцелярию и сообщали «приговор»: «Осуждена особым совещанием, как член семьи изменника Родины, сроком...» (на 5 или 8 лет. — Авт.). Пошла в канцелярию и я, выслушала стандартный приговор — срок 5 лет. Когда я возвращалась в Камеру со своим пятилетним сроком, мне было как-то не по себе: подавляющее большинство получило 8 лет, за какие же прегрешения мне только 5 лет?

* * *

Не помню уже, от кого и когда нам стало известно, что нас везут в Нарым. Этап начался с того, что всех перевезли в стационарную тюрьму для тщательного обыска, фотосъемки, снятия отпечатков пальцев и прочей обработки, полагающейся перед этапом.

Размещались мы в коридорах тюрьмы. Иногда нам удавалось заглянуть в камеры (когда приносили пищу или выводили кого-нибудь из камеры), и тут мы поняли, что наша «школа» была настоящим раем по сравнению с тюремными камерами.

Полуголые женщины стояли и сидели на полу (одновременно всем сидеть нельзя было). Жара, духота, видимо, доводили многих до полуобморочного состояния, несмотря на то, что головы были повязаны мокрыми тряпками. Нам рассказывали, что поспать можно было лишь тогда, когда «урок» (уголовник) выводили на работу. Совместное заключение с урками тоже было несладким. Они действовали по принципу: «Захочу — казню, захочу — помилую». То благосклонно относятся к «контрам», то издевательски захватывают у них последний кусок хлеба. Но об «урках» надо рассказать особо, и, если сумею, сделаю это обязательно.

* * *

Вот нас уже погрузили в теплушки, 40 человек в каждую. Нары в два этажа, тут же и «санузел». Едем. В Свердловске мы были строжайше предупреждены, что при проверках на вопрос о статье, по которой осуждена, отвечать надо только так: «Статья 58, пункт 10», что по уголовному кодексу означало «контрреволюционные действия». Мы упорно отказывались возводить на себя напраслину и дружно отвечали: «Жена», чем приводили в бешенство начальника конвоя, который даже применил знаменитую угрозу: «На мыло переварим».

Кормят отвратительной баландой, которую приносят в грязном ведре. Лошадям, конечно, не предложили бы пойло из такой неопрятной посуды. Некоторые едят, но я, к сожалению, среди тех, кто отворачивается, чтобы не стошнило от одного вида этой пищи. Хлеб сваливают прямо на грязный пол. Отдираем корку и едим. Это и была почти единственная еда за все время трехнедельного пути. Воды дают очень мало и тоже в грязных ведрах. «Умываемся», смочив ватку в воде. После того как протрешь ею лицо, она становится совсем черной.

Но... «всюду жизнь»: с нами в теплушку попала одна замечательная, исключительно талантливая женщина — Ида Геннадьевна Соколова-Марцинкевич. Как она рассказывала произведения Толстого, Чехова, Куприна, Цвейга и многих других! Большие романы («Анна Каренина») и маленькие шедевры («Первоцвет» Куприна). Мы готовы были слушать ее день и ночь. Сидела она на нарах совершенно спокойно, вертела в руках какую-нибудь вещицу, говорила, не повышая голоса, не прибегая ни к каким внешним эффектам, но какое-то чудо совершалось на наших глазах

— возникали живые люди, яркие краски природы, звуки, запахи. Ни с каким, даже самым интересным, театральным представлением не могу сравнить то, что делала Ида Геннадьевна. А она была всего лишь скромной учительницей в Свердловском педтехникуме.

Еще одно «утешительное обстоятельство» было в теплушке; замечательное пуховое одеяло, которое «бригада» доставила врачу-педиатру. Как только у кого-нибудь из женщин начиналась лихорадка, ее сразу укладывали под знаменитое одеяло. Лежали под ним по двое-трое одновременно, и к чести нашей врачихи надо сказать, что меньше всего лежала под ним она сама.

* * *

Три недели пути в теплушке, и мы наконец в Томске. Нас выстраивают колонной человек в 200, и мы впервые со времени ареста шагаем пешком по улице города. Всюду с любопытством и испугом разглядывают процессию пестро одетых женщин, явно не похожих на уголовников. Старушки крестятся и издали крестят нас, опальных.

Пришли в какой-то огромный барак с двухэтажными нарами, стоявшими четырьмя рядами во всю длину здания. Там уже женщины из других городов. Теснота невообразимая. Нам сообщают, что в Нарым нас повезут только весной. Там будто бараки еще не построены. На нарах мы оказались рядом с Верой Ярутиной, и мы сразу как-то «прилипли» друг к другу.

Разрешили выходить во двор, и мы с Верой почти не сидели в вонючем бараке, все ходили и ходили вокруг него.

Барак решили разгрузить и сделали это довольно оригинальным способом: была объявлена запись на зимние вещи (рейтузы, варежки, чулки и т.д.). Когда в списке набралось 60 человек, сказали: «Хватит, больше записывать не будем, а кто записался, собирайте вещи в дорогу». На улице стоят два грузовика. (В Свердловске была более высокая техника — «черные вороны».) Я среди шестидесяти. Догадавшись, что мы попали в ловушку, стараемся увильнуть, но никому это не удается. Привозят нас в тюрьму, в изолированную угловую камеру. От многих женщин я потом слыхала, что, переступив порог этой камеры, они подумали: «Отсюда живыми не уйдем». Так же думала и я. Холод, стены, покрытые инеем, грязь, захламленность и — самое главное — вонь от параша с нечистотами, от которой кружится голова, несмотря на то, что многие стекла в окнах выбиты и ветер свободно гуляет по камере. А мы уже заперты. Начинаем шуметь: все дружно стучим ногами в дверь, орем, пока не появляется начальство. Требуем удалить парашу и выводить нас на opravку в уборную. Поначалу отказывают, но парашу засыпают хлоркой. Запах хлора лучше, чем запах аммиака, но и он, конечно, мало радует. Через пару дней добиваемся своего — нас начинают выводить на opravку, а парашу из камеры забирают. Окна забиты досками («корыта» за окнами были и раньше). Камеру общими силами почистили, но сырость, затхлость победить, конечно, невозможно.

Чтобы не поддаваться унынию, затеваем разные игры, беседы, «лекции». Каждый рассказывает о своей профессии в доступной для всех форме. Рассказывали о своей работе геолог, зоолог, повар и т. д. Я сама задавала себе головоломные математические задачи и в бессонные ночи решала их без конца. Очень развлекали надписи на стенах камеры — стенгазета заключенных во всех тюрьмах. Особенно здесь запомнилась надпись: «Заповеди ЗК — не верь, не бойся, не проси и лишних слов не говори. Юсуп Мухитдинов». В мудрости ему не откажешь!

И тут я подошла к памятной встрече в этой тюрьме, благодаря которой у меня открылись глаза на многое. Как-то вечером открывают дверь и заталкивают в камеру трех женщин. Одна из них — самая молодая, — с толстой светлой косой, закрученной над самым лбом, и повязанная полотенцем, выглядела так, как будто она только что вышла из собственной бани на собственном подворье, хотя побывала она всего лишь в бане тюремной. Было столько домовитости и уюта в ее раздумавшемся лице, в этом полотенечке, во всем ее облике, что женщины наперебой стали звать ее к себе в соседки. Она быстро вскарабкалась на верхние нары, стала устраиваться, болтать с женщинами и вскоре обратилась ко всем: «Что-то вы приуныли, надо вас расшевелить. Давайте сыграем в такую игру: я буду говорить, что я люблю, а вы, если будете со мною соглашаться, поднимайте руку, не соглашаетесь — руки не поднимаете. Поехали!» И начинает быстро-быстро перечислять всякие хорошие вещи и вдруг... «люблю крыс в сметане» или «вошь на аркане»... А многие женщины по инерции поднимают руки, и тогда смех, всеспасающий смех...

Я все гляжу на эту девчонку (ей было 25 лет, но выглядела она моложе) и думаю: почему она кажется мне такой знакомой и давно как будто любимой? Что и кого напоминает ее говорок, повадки? Неужели Серпухов? (Если бы я ее знала раньше, то, конечно, не могла бы забыть ее зеленые глаза, похожие на спелые прозрачные виноградины). А через пару дней Аня (так ее звали) кубарем сползает ко мне с верхней полки и сразу начинает обнимать, целовать: «Так вы Соня Швед, вы сестра Ревекки Ароновны, моей учительницы по химии!» И начинает быстро, быстро рассказывать, как они ездили с Ревеккой Ароновной по деревням и вели там антирелигиозную пропаганду, показывали опыты «обновления икон» и «появления крови господней» и т. д. и как им иногда угрожали палками, а в других случаях встречали и провожали с большим радушием. Рассказывает мне, рассказывает всей камере, захлебывается от радости по поводу нашей встречи.

Я была рада не меньше, чем Аня. В Серпухове я знала ее отца — мастера на Ново-Ткацкой фабрике, где я работала, и двух сестер: одна — ткачиха, другая — учительница. Позднее, когда нас перевели в «женский монастырь» (так мы называли 4 барака, отгороженные высоким забором, где были размещены более двух тысяч «жен») и мы получили возможность потихоньку разговаривать на прогулках, я из рассказов Ани впервые узнала, какие методы следствия применялись в некоторых городах даже в отношении членов семьи репрессированных.

Аня жила в Магнитогорске. Ее туда послали работать нормировщиком после окончания Московских курсов ЦИТ (Центрального института труда). Замужем она была за начальником одного из цехов металлургического завода. Когда ее арестовали (почти одновременно с мужем), у нее был годовалый ребенок. Арестовали не дома, а вызвали среди бела дня в НКВД, и домой она уже не вернулась. Няня, узнав от кого-то, что забирают и матерей, и детей, решила ребенка спрятать. Несколько дней она скрывалась вместе с ним, но ее выследили и ребенка забрали. Об этом узнала Аня уже в тюрьме от соседки, которая тоже была арестована.

Из Челябинска приехал в Магнитогорск следователь специально «по делам жен», и в отличие от Свердловска следствие здесь велось самое свирепое и чудовищное. «Для первого знакомства» он предъявил Ане «протокол допроса», заранее им заготовленный, примерно такого содержания (помню довольно точно): «Такого-то числа в сумерках мы с мужем сидели на диване, не зажигая света, и он стал мне рассказывать, как они в цехе нарочно ломают машины, устраивают аварии с людскими жертвами. Я ужаснулась, хотела бежать в НКВД, донести на мужа, но вспомнила о нашем ребенке и промолчала, хотя страшно терзалась» и т. д. Следователь вместе с помощником по двое суток держали Аню на ногах, заставляя ее подписать их сочинение. Не помогло. Устроили

инсценировку: за окном — плач ребенка. «Это твой ребенок плачет, подпиши, а мы сейчас же выпустим тебя на свободу, к ребенку». Не помогло. Принес отпечатанную на машинке справку с подписями и печатями о том, что «приговор над мужем приведен в исполнение». Но Аня уже достаточно была закалена, чтобы и этому не поверить. А он твердит: «Муж твой расстрелян, терять тебе нечего, а ведь ты красавица, тебе надо жить и ребенка спасти. Ты комсомолка, а ведешь себя, как старые бабы, которых мы на мыло переварили». Не гнушался и всякой пошлой лести и предложений. Об этом гастролере из Челябинска я слышал и от других женщин из Магнитогорска, но подробности они, естественно, не рассказывали (откровенность тог была не в ходу). «Вещественным доказательством» его «художеств» был арест домработницы одного из ведущих инженеров Магнитки (вместе с его женой). И эта домработница так и прожила с нами 2 года в Томске, хотя писала бесчисленное множество заявлений. Дальнейшая ее судьба мне не известна.

Многие женщины и из других городов, очевидно, подвергались допросам «с пристрастием», но рассказывать об этом боялись. Сужу я об этом по тому, что они отказывались верить нам, свердловчанкам, что нас почти не допрашивали...

И все же... я считала еще тогда, что такие методы следствия — исключение, а не правило, что отдельные садисты не делают погоды. Прошли еще годы, пока я узнала правду.

Вот еще об Ане и ее сыне: «Находился в 1937 году с такого-то по такое-то число в детском приемнике». Дальнейшее место пребывания не известно.

В 1958 году я специально поехала в Серпухов, нашла родственников Ани, которые дали мне ее адрес и рассказали, что Севочку так и не нашли, хотя одна из сестер Ани специально ездила ради этого в Магнитогорск.

Я написала Ане и получила от нее очень странный ответ. В начале письма сообщала как о живом: «Моему Севочке уже 22 года», а в конце письма была приписка: «Ребенка своего я так и не нашла».

Вот я сейчас написала эти строчки, и у меня самой явилась страшная мысль: может быть, он действительно жив, но его усыновили новые родители, и именно поэтому он «пропал без вести», как пропали многие другие младенцы репрессированных?

Какое жестокое наказание для матерей!

* * *

Очевидно, еще в самом конце 1937 года мы перебрались в «женский монастырь». Тут уже не сотни, а тысячи жен из разных городов, в том числе из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы. Несколько женщин уже успели побывать в аналогичном лагере в Караганде. Там, говорят, более шести тысяч жен. Оказалось, что в нашей прежней тюрьме сидели женщины еще в нескольких камерах, но мы были так основательно замурованы в нашей «келье», что не знали об этом.

Привезли в «монастырь» 40 женщин с младенцами на руках: в некоторых городах разрешали грудных детей забирать с собой. И конечно, дети становятся общей заботой, общей радостью и горем — одновременно для всех нас, осиротевших матерей. Счастье детей, что в лагере было введено самообслуживание и во главе «хозяйства» была поставлена поначалу замечательная женщина — Шапошникова, о которой я еще расскажу дальше.

При всей скудности средств для детей и их кормящих матерей все же отбирались лучшие крупы, самые свежие продукты. И странное дело: в тех ужасных условиях — 40 женщин плюс 40 детей в небольшой холодной камере, многие без теплой одежды, полуголодные — и остались все до одного живы, и даже болели относительно редко.

Но как однобоко развивались эти дети, как ограничены были их представления о внешнем мире!

Расскажу немного об этом. Продукты до ворот «монастыря» возили на лошадях мужчины, а у наших ворот они передавались женщинам. Поэтому мужчины в представлении многих ребят были неотделимы от лошадей, и, завидев где-нибудь «дядю» (из начальства) в нашей зоне, они начинали кричать «тпру, тпру»...

Когда начальство приходило в камеры, дневальная объявляла: «Внимание!» — и все должны были встать.

Так вот, осенью 1939 года, когда родственникам разрешили забирать ребят из лагерей, за нашим общим любимцем — Юрочкой — приехала бабушка. Ей, конечно, не разрешили получить ребенка из рук дочери: передавать его должен был комендант. Мать привела к нему Юрочку, но ребенок никак не идет от нее к чужому дяде. Тогда дядя дарит ему коробочку из-под папирос. Мама спрашивает мальчонку: «Что надо сказать дяде?» - и Юрочка в ответ: «Внимание!»

А одна мамаша даже успела получить от бабушки письмо, что забранный из лагерей ребенок каждый день перед обедом справляется: «Сегодня черпак на двоих или на одного?» (В лагерях это был очень серьезный вопрос, так как в голодные дни давали черпак баланды на двоих, а в «сытые» — на одного.)

Вот и сейчас плачу, когда пишу об этом...

Но довольно пока о детях.

Что же ждало нас в новом лагере-«монастыре»? Конечно, все те же двухэтажные нары. Поначалу отмерили по 38 см, а потом уплотнили до 35. Спят все на одном боку и поворачиваются на другой бок все вместе (мы говорили: «Давайте кантоваться»). В уборную если ночью вставала одна, за нею тянулись уж и остальные. Помещения совершенно не отапливались даже в самые страшные томские морозы, хотя многие стекла были побиты. Отапливали собственными телами и паром от баланды, кипятка, которые приносили в камеру. Даже ночью на верхних нарах стояла жара и спали полуголыми. Но внизу становилось холодно, и мы, спавшие сверху, иной раз кидали вниз свои лохмотья для обогрева.

При отсутствии водопровода и канализации умывание затягивалось на весь день, а вне своей очереди умывальную зайти нельзя было, так что помыть руки перед едой можно было зимой только снегом, а летом, если бог даст, под дождиком. Беспомощными мы оказывались только в борьбе с клопами: сколько их ни парили, ни чистили, ничего не помогало. (Борьбу с клопами монополизировали наши молодые актрисы, балерины. Снимут доски с нар и скачут по балкам, воображая очевидно, что они на сцене. Особенно отличалась наша прима-балерина Большого театра Галя Лерхе, но о ней надо будет сказать особо.)

Все работы по камерам, уборным, умывальням, доставке пищи велись, конечно, по очереди, и все делалось с величайшей тщательностью.

Всем хозяйством, как я уже говорила, заведовала Шапошникова, женщина 43 лет — герой гражданской войны, жена Чудова — первого секретаря Ленинградского обкома партии. Шапошникова была одной из четырех женщин, делегированных впервые в США к Рузвельту для налаживания контактов еще до признания Америкой СССР (в 1933 году). В эту делегацию входила жена Молотова — Жемчужина.

Была наша Шапошникова исключительная умница, прекрасный организатор, мягкий и на редкость порядочный человек (и к тому же отличная шахматистка). Сумела она вокруг себя организовать отличный, дисциплинированный, постоянный коллектив, а по очереди работали на кухне и в хлеборезке все трудоспособные.

Продукты получал лагерь, как правило, с гнильцой: испорченную рыбу, мерзлую картошку, верхние листья от вилок капусты, удаленные, как негодные, при ее переработке, кукурузную муку с горькозатиной и т. д. И из всех этих продуктов тщательной промывкой, соответствующей заправкой умудрялись готовить какие-то «блюда», которые не вызывали такого отвращения, как тюремные. Много значит и то, что приносили их в камеры в чистых кадках — «с уважением к объекту».

Но иногда бывало так, что Шапошникова ничего поделывать не могла: целыми неделями, например, не привозили соли, и нам казалось, что, когда она появится, мы ее горстями будем есть. А то, кроме прогорклой кукурузной муки, ничего не завозят: ведь мы не обычные лагерники, участвующие в какой-то производственной работе и получающие соответствующий паек. Мы «паразиты», бездельники, и с нами не церемонятся.

Только когда началась страшная эпидемия куриной слепоты, а за нею еще более страшная — цинга, когда сотни женщин уже не могли стоять на ногах, и мы носили их на оправку, когда казалось, что скоро уже некому будет выполнять роль носильщиков, тогда приехала откуда-то комиссия и распорядилась доставить в лагерь рыбий жир, свежую рыбу, ежедневно поить всех без исключения женщин хвойным напитком (за уклонение строгое наказание). Зашевелились... но ненадолго. Прошел месяц, другой, и все пошло по-старому. Об эпидемиях я еще расскажу потом, а теперь вернусь к концу 1937 года, когда мы перешли в женский лагерь.

Вскоре нам разрешили написать письма родным, но предупредили, что все должны сообщить своим: «В Томске находимся проездом». Через некоторое время, к великой нашей радости, некоторые женщины стали получать ответы. (Продолжалось это 2—3 дня, и вдруг - конец. Ни одного ответа в продолжение нескольких недель.)

Поздно вечером как-то нас поднимает дневальная сигналом: «Внимание!» Приехало начальство и осматривает ряды нар. Со всех сторон несутся возгласы женщин: «Почему нам не выдают письма родных?» Ответ: «Родные от вас отказались» (!). Мы: «Не может этого быть, чтобы сразу все родные отказались, отдайте нам наши письма!» Он: «Если мы отдадим вам письма, вы не обрадуетесь, там проклятия в ваш адрес». Конечно, это было вранье, и, казалось бы, все должны были это понять, но все же... в разных углах камеры возникает истерика, то там, то здесь зовут врача: обмороки, сердечные припадки. Ужасная, незабываемая ночь!

А переписка с родными на этом и закончилась. Нам тоже не разрешили больше писать (до июля 1939 года).

Я была среди тех, от кого «отказались», письма ни одного не получила, но зато регулярно, через каждые 3 месяца, получала посылку и извещение о том, что на мой «текущий счет» зачислено 20

рублей (перевод от матери). Таких «счастливиц» было не более 15 человек на весь лагерь. Я была уверена, что мать приезжала в Томск и, узнав, что я нахожусь там, посылала посылки, но после освобождения выяснилось другое: мама как-то узнала в Одессе, что уголовники, находящиеся в общих лагерях, имеют право получать посылки и переводы один раз в 3 месяца и решила рискнуть. Раз, другой... Посылки не возвращаются, и она их шлет опять. Так поступать в то время могла только мать, но в отправке посылок, конечно, помогал ей мой брат Леля, живший вместе с нею. Эти посылки были большим подспорьем не только для меня; мы честно делили их содержимое с друзьями в самые голодные дни.

* * *

Вы, конечно, понимаете, что состав заключенных в «монастыре» был самый разношерстный: начиная от жен наркомов (так тогда называли министров) и председателя Совнаркома Рыкова и кончая женами председателей колхозов, работников КВЖД и т. д. Было много знаменитых актрис, и была даже одна женщина-академик, была старуха, больная трахомой, которая на вопрос: «За что тебя посадили, бабушка?» — отвечала: «А я знаю, доченька? За трацкизку за каку-то». — «А кто тебя осудил, бабушка?» — «Не знаю, доченька, бог ему судья, кто меня сюда упрятал». — «А на сколько же лет тебя осудили?» — «На 4 лет». — И старушка даже обрадовалась, что хоть на один вопрос сумела ответить. Неграмотных старушек там было немало.

Наиболее громкие фамилии вас, вероятно, заинтересуют. Вот они: кроме Рыковой, Бухариной, Гринько две Косиор (жена Станислава и жена Казимира), Раскина, Гуревич, две сестры Тухачевского, сестра Шейнмана, Догадова. Были еще и другие «наркомши», ничем не примечательные, и я их не запомнила.

Безусловно, одной из самых замечательных личностей из тех, кого я перечислила, была Бухарина (дочь известного экономиста Ларина). Ей было всего 22 года (вероятно, раза в два с половиной моложе своего мужа). Ребенку её было года полтора. Красавица такая, что все единодушно говорили, такой еще не видали. И не кукольная красота, а необычайно одухотворенная, тонкая, поэтичная. Вероятно, о такой красоте писал автор «Песни песней». Такие фиолетово-синие глаза, сверкающие подлинными черными ресницами, — ни у кого таких никогда не видала. Была она очень скромна и по-девичьи застенчива.

Как будто это было вчера, помню тот день, когда мы, сидя почти рядом с нею на верхних нарах (про себя я это место потом назвала «лобным»), слушали чтение газеты, где было обвинительное заключение по делу Бухарина (стандартное — террорист, изменник родины, агент иностранных разведок); приговор — расстрел; хроника — приговор приведен в исполнение.

Бухарина слушала с широко раскрытыми глазами, но ни одной слезы, ни вздоха. Потом быстро соскочила с нар, побежала выливать парашу из умывальни (она была дежурной), а затем весь день кружила одна вокруг бараков, переступая быстро-быстро какими-то странными зигзагами.

А через пару дней весь лагерь уже знал то, что она рассказала кому-то сгоряча (скорее всего М. из Армении, которая, несмотря на разницу в возрасте, постоянно увивалась вокруг Бухариной и о которой потом говорили, что она ради сохранения своей красоты готова предать и отца с матерью). Рассказ сводился к следующему: когда были опубликованы «разоблачения» Радека в отношении Бухарина, последний, еще будучи дома, объявил голодовку, которая длилась как будто около трех недель, пока за ним не пришли. Прощаясь с женой, он сказал, что ни в чем не виновен, но на возвращение не надеется и сына ей придется растить одной. Не знаю, этот ли рассказ Бухариной

послужил причиной того, что через несколько дней ее «увели за ворота», то есть предъявили личное дело, или вопрос был заранее предрешен. Позднее ее видели в Москве, в Бутырской тюрьме.

Сестры Тухачевские ничем особенно не выделялись из общей среды. Симпатичные, простые и доступные женщины. Чрезвычайно трудолюбивые, они шли на самые тяжелые работы. И неотлучно за ними следовала Римская-Корсакова, цыгановатого вида женщина, близкая родственница «того самого».

На втором году нашего пребывания в лагерях к нам приехала новая ЗК. Поместили ее очень близко от меня, на верхних нарах. Гляжу на нее и никак не могу вспомнить, где я ее видела. Познакомились: Софья Михайловна Авербах. Стали гулять вместе. Спрашиваю: «Мы раньше никогда не встречались с вами?» Она: «Нет, едва ли, я многим кажусь знакомой». И тут я сразу поняла: «Вы родственница Якова Михайловича Свердлова?» — «Да, родная сестра». — «И сидите за него?» — «Нет, сижу за сына, Леопольда Авербаха». Когда я сказала С. М., что знаю Авербаха по работе на Уралмаше, где он был последние годы секретарем райкома (Орджоникидзево), она буквально «вцепилась» в меня. Ей, матери, нужно было узнать как можно больше о своем сыне, каждая мелочь, каждая деталь ее интересовала, а когда мои сведения оказались исчерпанными, она заставляла снова и снова повторять то, что уже было рассказано.

Сама она, конечно, много рассказывала о Якове Михайловиче. Возмущалась кинофильмом о Свердлове, где показана его болезнь и смерть в одиночестве. По ее словам, дело обстояло как раз наоборот: его окружали родные, друзья. Она сама работала в Кремлевской больнице (вплоть до ареста), и во время болезни Свердлова ей вменялось в обязанность заниматься только братом, для чего она была освобождена от всех остальных обязанностей.

Софья Михайловна сокрушалась по поводу того, что у меня заметно ухудшался слух за время нашей совместной жизни. Она предупреждала меня, что я могу совсем оглохнуть, и настойчиво пыталась обучать пониманию речи по губам, но я плохо поддавалась обучению. Исчезла она из Томска задолго до того, как оттуда стали увозить всех остальных ЗК. Вероятно, и она получила «личное дело».

* * *

Среди женщин были великолепные певицы Большого и других оперных театров страны. Первое время после перевода в «монастырь» всюду раздавалось пение, но вскоре оно было категорически запрещено. И все же одну песню мы снова и снова заставляли потихонечку напевать наших певиц, и они пели, рискуя попасть в карцер. Это неаполитанская песня «Я знаю солнце». Слушали и заливались слезами. Плакали частенько и сами певицы, и, может быть, именно поэтому их пение казалось тогда волшебным.

Галя Лерхе — прима-балерина Большого театра - наша общая любимица. Участвовала в первой гастрولي советского балета в Англию (вместе с Викториной Кригер) в начале тридцатых годов. Тоненькая «спичечка», скромная и трудолюбивая «девочка». Одета весьма оригинально: грубошерстное одеяло разрезано пополам. Из одной половины в дневное время монтируется юбка, другая заменяет жакет, шаль. На ночь обе половины воссоединяются завязками — одеяло.

Как-то кто-то где-то достал для Гали на время настоящую коричневую шерстяную юбочку. Прямо по ее худенькой фигурке. Нарядили и давай уговаривать: «Галя, станцуй! Коридор в твоём распоряжении, выставим «пикеты», чтобы не нагрнула надзирательница, станцуй!» Но Галя

никак не может решиться: на сцене она, наверное, не глядела в зал, а тут все кругом знакомые — стыдно. Но вот женщины все заразительно «подыгрывают» сербияночку и... Галя пошла, пошла. Что это была за пляска! Или нам все тогда казалось невиданным и неслыханным?

Женщины знали Галину слабость: она была большим мастером не только классического танца, но и характерного. Каждый день наша Галя забиралась в какой-нибудь темный уголок и упражнялась, старалась не терять форму. Галя была второй женой Фурмана, о котором была написана книжка (Бориса Горбатова, если не ошибаюсь). Называлась книжка «Секретарь горкома». Речь шла о Горловском горкоме, имевшем большие успехи в благоустройстве города, росте культуры и благосостояния рабочих. Позднее Фурман работал в МК партии и покончил жизнь самоубийством в 1936 году, когда была репрессирована группа его товарищей.

Здесь же, в Томске, была первая жена Фурмана, которая была уже замужем за другим, но сидела за Фурмана. Обе они были очень дружны между собою. Первая жена относилась к Гале по-матерински.

Глядя на некоторых женщин, я часто вспоминала афоризм Свифта: «Что такое мораль? Башмаки. Почему? Она быстро изнашивается от хождения по плохим дорогам».

К числу таких женщин относилась наша новая «хозяйка», которая заменила Шапошникову. О ней бы и не стоило упоминать, но в связи с нею вспоминается любопытная фигура Дины. Вот это действительно «фигура» в прямом и переносном смысле слова. Женщина-великан. Огромный рост, широкие плечи, и казалась она вполне пропорционально сложенной, хотя весила 12-13 пудов. Ничего похожего на женщин-толстух. Была каталом в шахте. Работала в лагере грузчиком на кухне и играючи поднимала сразу по два мешка муки. По разрешению комендатуры получала два арестантских пайка, но и это для нее было «на один зуб». Ее грозной силы побаивались многие женщины, но как ее любила наша детвора! Думаю, что дети и в этом случае судили правильнее, чем взрослые. Дина очень любила прогуливаться по «бульвару» с 4-5 ребятишками на руках, плечах, а для них это была чудесная забава. И вот когда кляузница Пономарева сменила нашу дорогую Шапошникову, Дина стала ее «донимать» и вскоре за свои выходки попала в карцер. Во время «расследования» комендант спросил ее: «Как вы посмели называть Пономареву сволочью?», а она, не моргнув, ответила: «Что вы, гражданин начальник, неужели я такую сволочь назову сволочью?» И, о счастье, через несколько дней, когда Дина еще сидела в карцере, туда же приводят Пономареву, пойманную с поличным на воровстве. Тут уж Дина потешилась! Во-первых, она поделила труд между собой и своей сожительницей: «Гроб повапленный (так она обращалась к Пономаревой), я буду наполнять парашу, а ты будешь выносить. Попробуй только отказаться!» Не прочь она была дать ей и «легкого» пинка: «Это за Шапошникову, это за воровство, это за кляузы, а это уж за меня». Не завидовала я Пономаревой, но, может быть, Дина ее кое-чему и научила. Должна сказать, что я любила Дину не меньше, чем детишки, чувствовала, что в этом большом теле большое человеческое сердце и большая доза юмора.

В 1939 году была перепись населения. Составляли бланки и на нас и при этом разъясняли, что мы имеем право писать «незамужняя» или «разведенная». Нашлись такие, что писали именно так, но их было ничтожное меньшинство. Я уже говорила о Соколовой-Марцинкевич, с которой мы ехали в одной теплушке из Свердловска. С этой чудесной рассказчицей мы снова оказались в одной камере в Томске. Вечерами, когда рассказывала Ида Геннадьевна, к нам собиралось из других камер 500—600 человек. Стояли в проходах так тесно, что рукой не пошевелинешь. Напоминало театр: на весь огромный барак, «пересеченный» (и затененный) нарами, горела лишь одна яркая лампочка, и под нею сидела «актриса» — И. Г. Почти весь барак был погружен во тьму. И вот

рассказывает женщина тем же ровным, спокойным голосом, и, очевидно, слышно в каждом уголке — никто не жалуется и не просит говорить громче. Что это, чудо? Нет, прав, очевидно, Утесов, когда говорит, что люди сейчас разучились слушать простой человеческий голос, микрофон оглушил. Разве могли бы сейчас слушать тихий, приглушенный голос Н. К. Крупской, а мы слушали ее, затаив дыхание, в 20-е годы, и ни одного слова не пропало.

Но Ида Геннадьевна оставалась с нами недолго, с необыкновенным человеком случилось необыкновенное: ее освободили — единственный случай в Томске, если не считать посаженных.

Ида Геннадьевна многим из нас оставила наследство — страсть к рассказыванию. Не для большой аудитории, но в своей компании. Рассказывали все, что помнили, а когда запасы иссякли, начинали сочинять сами.

Были в Томске женщины, которые знали много стихов наизусть, и записи их ходили по рукам. Много стихов наизусть заучила и я (Маяковский, Пушкин, Лермонтов). Особенно мы увлекались Маяковским, которого я раньше, может быть, недостаточно знала, а может быть, по другим причинам не особенно любила. Мне гораздо ближе были такие поэты, как Некрасов и наш комсомольский — Безыменский. А тут Маяковский дошел до нас «над бандой» не только «поэтических рвачей и выжиг». Он стал для нас в те тяжелые времена особенно понятен и созвучен. И представьте, мы с самым неподдельным пафосом, с особым подъемом декламировали его «Советский паспорт», хотя сами были лишены этого паспорта. Может быть, эти стихи поддерживали в нас веру, что мы достойны быть советскими гражданами. Нас загнали в тупик, затоптали в грязь, но мы живы и будем жить!

А сейчас мне пришла в голову страшная мысль: может быть, эти стихи были нам так созвучны потому, что и Маяковский писал их вопреки той жизненной и творческой обстановке, в которой он находился? В поэме «Во весь голос» это обнажено, а в «Советском паспорте» скрывается где-то за строкой.

Увлекались мы и игрой в шахматы, хотя по-настоящему умелых игроков было мало. Делали шахматные фигурки из хлеба, и им постоянно угрожали две опасности: обыски комендатуры, когда их не только отнимали, но пойманного владельца шахмат могли посадить в карцер, и ...крысы.

Вообще, комендатура считала своим священным долгом пресекать любые занятия заключенных. Вот кто-то из пожарниц нашел на чердаке учебник химии. Какая радость! Мы все по очереди читали и перечитывали эту затрепанную книжку. Выследили, забрали.

Начинается «эра» вышивания. Распускаем все трикотажное, что еще осталось у нас, обмениваемся нитками, и пошло вышивание тюбетеек, рубашек (конечно, из расчета, что когда-нибудь их будут носить наши дети). Вышила и я две тюбетейки для Феликса и Шурика. Но вот кто-то донес, что в рисунках для вышивания попадаются орнаменты, напоминающие свастику (!). Не зря, мол, заключенные так рьяно занялись вышиванием — «Тут подоплека политическая». И вот уже не карцер, а дело посерьезнее: нескольких женщин уводят за ворота, что означало начало следствия. Вышивание запрещено, но, как и всякое запрещение, оно потихоньку нарушается нами.

Что же не запрещено? Всякие работы по самообслуживанию: распиливание и колка дров для кухни (тут непревзойденный виртуоз Вера Ярутина), другие работы на кухне, уборка двора и помещений и т. д. Но есть у нас одна-единственная обязанность, так сказать, на общее благо: мы

стираем белье для конвоиров всей томской тюрьмы. Стираем в наших умывальнях, очень тесных, без канализации и водопровода. Воду греем на кухне. Стирка, конечно, ручная. Всегда спешная, и поэтому заставляют сушить способом, о котором я до Томска и не догадывалась: встряхиванием на руках. Летом это делается на улице, а зимою прямо на нарах, на обоих «этажах». Внизу стоят женщины во весь рост, а вверху на коленях, и трясем, трясем до полного изнеможения. И представьте, высушивали! А ночью уже делалась более приятная работа: мы «гладили» белье, подкладывая его под себя.

Еще одна деталь нашего быта — баня. Обычно нас поднимали неожиданно, ночью. Собирайтесь в баню! Каких тяжелых испытаний ни ждешь впереди в связи с баней, такая весть радует наши сердца.

* * *

Я уже рассказывала об эпидемиях цинги, куриной слепоты, но зимою и летом 1939 года у нас свирепствовала самая страшная «эпидемия» — сумасшествие. Да, оказывается, и сумасшествие — заразная болезнь, когда люди живут невероятно скученно, когда нервы напряжены до последней степени. Началось с женщины, которой было известно, что она уже болела раньше, на воле. Ночью она вдруг вскочила и начала плясать прямо по телам своих соседок. Пляшет, поет, декламирует стихи.

Вызвали работников комендатуры, врачей. Что делать, как изолировать больную от остальных?

Единственное место в лагере, которое можно освободить для больной, — карцер. И вот она оказывается одна взаперти. Но из карцера начинают раздаваться по всему лагерю такие душераздирающие крики, что мы уговариваем врачей — наших же заключенных — выпустить ее из карцера и отдать на наше попечение. И вот она несколько дней среди нас, никого не обижает, только без конца декламирует (память великолепная), поет, танцует и... плачет. Пока ее устраивают в Мариинскую тюремную больницу (в Томске тоже, вероятно, была психиатрическая больница, но разве можно туда поместить ЗК?), пока ее собираются отвезти в Мариинск, проходит 3-4 дня, и за это время успевают сойти с ума еще одна пожилая женщина. Ее дочь работала на телевидении (тогда это была еще скорее экспериментальная работа). Мать все «видит» свою дочку на экране, разговаривает с нею или вдруг начинает кричать, плакать по поводу того, что дочка на нее не смотрит, отвернулась от нее. Отказывается от всякой пищи. Полагаются вводить питание искусственно...

И так одна за другой — не меньше 12 человек. И все они остаются в камерах, пока их не увозят в Мариинск. Особенно мне запомнился случай с нашим единственным академиком. Должна сказать, что она с самого начала казалась странной: ни с кем не дружила, вид у нее был угрюмый, исключительно небрежно носила свои лохмотья, но все это мы приписывали тому, что «кто раз вкусил науку, не смеется никогда». И вдруг под окнами барака раздается страшный крик: «Земли хочу, земли хочу!» Лежит на земле, вцепилась в нее руками — никак не оторвешь — и кричит. Даже Дина оказалась неспособной справиться с нею, поднять ее с земли. Я тогда, признаться, думала, что если я сойду с ума, то, вероятно, также буду цепляться за землю: уж очень я стосковалась по возможности поваляться на травке, быть поближе к земле, к воде. (И позднее уже в Ухте, когда нас еще под конвоем водили на работу через небольшую рощицу, я, грешным делом, часто «спотыкалась», чтобы только иметь возможность прикоснуться к траве или сорвать цветок.)

* * *

Из нашей компании никто всерьез не пострадал от цинги, никто не сошел с ума, не «ушел за ворота», не сидел в карцере. И за это все мы должны благодарить друг друга. Мы были очень «дружные ребята», заставляли друг друга гулять, работать на свежем воздухе даже в самые холодные и ненастные дни, старались иметь про запас для всех какой-нибудь сухарик или кусочек сала на самый черный день, постоянно старались быть занятыми, поддерживать друг в друге бодрое настроение. Все это помогало.

Из кого же состояла «наша компания»? В основном это были землячки-свердловчанки: Вера Ярутина — наша самая улыбчивая, добросердечная и энергичная художница, жена директора Уральского горного института; Надя Заостровская — химичка, жена Гребенева; Моносова — кандидат педагогических наук, жена Степанова, работавшего вместе с нашим Иосифом. Кроме того, в нее входили: Аня Прокофьева, о которой я уже рассказывала; Ида Файн — жена большого друга нашего Иосифа, с которым они работали вместе еще в годы молодости; Минна Думер — одна из лучших учениц Фортуната Викторовича Каминского, подруга моих старших сестер. Это было основное ядро, крепко сознававшее свою коллективную ответственность друг за друга, но у каждого из нас были еще и другие друзья, другие привязанности.

* * *

Возможно, что именно «эпидемия» сумасшествий, усиление цинги и других заболеваний заставили пошевелиться ГУЛаг. Я уже говорила, что нам разрешили писать заявления. Правда, толку от них не было никакого, но все-таки временно это как-то создавало разрядку. Вслед за этим начали выдавать справки о месте нахождения детей. В первую очередь это касалось тех детей, которые были забраны в детприемник. Получила справку и я: «Феликс и Александр Швед находятся в детдоме в г. Бердске Новосибирской области».

Разрешают писать письма в детские дома. Пишу и я, но ответа нет и нет (я уже рассказывала, что дети были увезены из Бердска еще в начале 1938 года).

В июле разрешают матерям, у которых дети находятся в Томском лагере, вызвать родных для передачи им детей. Затем разрешают и остальным заключенным написать по одному письму родным.

Тут начинается период, который весь был заполнен слезами радости и слезами великого горя. Почти каждое письмо с воли читалось и перечитывалось всеми. У одних радость — дети воспитываются у родных, здоровы, все в порядке. У других — о детях ничего не известно или известно самое печальное...

А тут уже начали появляться бабушки, вернее, не сами бабушки, а сообщения, что они приехали в Томск за внуками. Прощание матерей с малышами... Содом!

А я все не получаю ответа — ни из Бердска, ни из Одессы.

26 августа. Начиная с 1935 года, когда в ночь на 27 августа арестовали Иосифа, это самый тяжелый день в моей жизни. С утра хожу уже взвинченная. И вот как раз в этот день я наконец получаю письмо со штемпелем: «Гайсин». Открываю конверт. Фотография без единого слова приписки. И какая фотография! Вот он итог четырех лет! Моих мальчиков трудно узнать: какие-то тупые, испуганные личики. Особенно страшен Шурик: полураскрытый рот, заторможенный взгляд,

короткая стрижка — лицо придурковатого арестанта (такие уж тогда были у меня ассоциации). А обувь, что у них на ногах? Носки отошли от подошвы, рваные башмаки или что другое? Но я уже ничего видеть не могу. В первый раз в жизни дикая истерика. Кричу, ору только одно: что сделали с моими детьми? Сбегают все мои друзья, начинают успокаивать, но это самое неразумное: вместо того чтобы успокоиться, я начинаю лупить их ногами, отгонять от себя. А ведь я не теряла сознания, все помню и помню даже, как я сама себя успокаивала: самое главное, что дети живы, живы они у тебя, эгоистка этакая, у других и этого нет!

Но разве можно было успокоиться, получив такую ужасную фотографию? Можете меня корить за слабость, но все-таки с ума же я не сошла... И слава богу, что в сентябре-октябре начался великий разъезд — ликвидация томского лагеря многострадальных женщин.

В какой-то степени этот лагерь был прообразом тех особорежимных лагерей, в которых жили наши мужья: без права переписки, без участия в производственной деятельности и, следовательно, в голоде, холоде, лишены вещевого довольствия и т. д. Но там было еще неизмеримо хуже — там жили не люди, а номера и беспросветность была еще большая, чем у нас. Оттуда не возвращались...

Итак, нас начинают развозить по лагерям общего типа, которые ни в какое сравнение не идут с теми лагерями, о которых я говорила выше. Обычно они устраивались вблизи крупных новостроек, действующих предприятий и других трудоемких объектов. В них все трудоспособные заключенные принимали так или иначе участие в производственной работе. Работали часто рядом и наравне с вольнонаемными или, во всяком случае, под их началом; получали относительно неплохое питание, одежду и даже небольшое («на папиросы») денежное вознаграждение. Но самое главное — имели возможность переписываться с родными. В этих лагерях находились все уголовники, осужденные за «преступления по должности», так называемые бытовики — осужденные за аборт, за ругань и т. д.

Были здесь и многие «политические» — как правило, беспартийные или осужденные уже после 37-го года, когда меньше стали направлять в особорежимные лагеря. Но не так-то скоро дело делается, как сказка сказывается. Со времени, когда нас начали снаряжать в путь, до прибытия к месту моего назначения — в Ухту — прошел без малого год.

Из Томска женщин с гуманитарными профессиями, врачей, а также тех, кто не имел определенных профессий, направляли, как правило, на восток (потом мы узнали — в Магадан, Яю и др.); инженеров, техников — на запад. Я была в числе последних.

Едем уже не в теплушках, а в обычных арестантских вагонах, отличающихся от пассажирских вагонов небольшими зарешеченными окошками и сплошными нижними и верхними нарами без деления на купе. Я забираюсь наверх и прилипаю к окошку. Подумать только, два года не видала настоящих вольных людей (не причислишь же к ним стрелков, надзирательниц и прочих)!

А тут на полях еще идет уборка урожая, вспашка зяби. Люди трудятся, дышат вольным воздухом, может быть, поют, может быть, и бранятся — живут настоящей вольной жизнью! Проезжаем близко от какой-то деревни: женщина стирает белье в корыте, возле нее увивается малыш. Как я завидовала ей, как мечтала о такой простой деревенской жизни!

Приехали в Новосибирск — первая пересыльная тюрьма. После бани и всяких формальностей привели в камеру. Комната не очень больших размеров. Крашеный пол чисто вымыт. Нары хоть и

двухэтажные, но стоят только возле стен, посреди комнаты свободное пространство. После Томска здесь кажется даже уютно. И женщины ЗК какие-то опрятные, чисто одетые и умытые.

Оказалось, что в камере все «урки». Запомнилась одна интересная женщина. Румяные щеки, гладко зачесанные волосы заплетены в толстую косу. Коричневая кофточка мужского покроя застегнута на все пуговицы. Вид скромной домработницы старых времен. Ее начинают упрашивать «старожилы»: «Нюша, спляши для гостей». Она отказывается: «При чужих стыдно». Но ее «уломали», и оказывается, она не только очень мило пляшет, но и хорошо «играет» деревенские песни.

Неужели у этой тихой, миловидной женщины может быть чем-нибудь запятнанная совесть? Ограбления с убийствами — вот за что она осуждена! Обычная история: вышла замуж, муж оказался бандитом, любовь пересилила...

И еще в этой же новосибирской тюрьме: с нами вместе в этап отправляли пожилую женщину. Белейшая кофточка и такой же платочек на голове. Постное строгое лицо в глубоких морщинах. Ни дать ни взять монашка. Проверка документов: статья, соответствующая преднамеренному убийству. Не верю своим ушам, но она сама поясняет: «Мужика своего топором зарубила. Бог простит, сладу с ним не было, с пьянчужой окаянным...»

Еще много у меня было встреч с «урками», но сейчас некогда о них вспоминать. Вперед и вперед, к новым пересыльным тюрьмам, сторожевым вышкам!

В какой-то мере моя торопливость сейчас, вероятно, отражает то нетерпение, с которым мы передвигались к месту назначения.

Мы уже в Челябинске. Тюремное здание — памятное для меня: в 1931 году, когда я была на практике на ферросплавном заводе, это было единственное приметное здание на пути с завода к центру города. Теперь там улица Российская, застроенная большими домами, и здание тюрьмы среди них «потерялось».

В Челябинской тюрьме я пробыла долгих три недели. Родным, челябинцам, ничего не сообщала, так как боялась, что они и так уже могли пострадать из-за связи с нашей семьей. В тюрьме здесь сидели жены, которые были арестованы еще в те считанные сентябрьские дни 1937 года, когда забирали «членов семьи изменников родины». Их почему-то забыли отправить в лагерь, и они так и оставались в тюрьме. Женщин в тюрьме вообще оставалось мало, поэтому каждой из них часто приходилось мыть полы в коридорах, мужских уборных. Испытала это «удовольствие» и я.

* * *

Едем дальше. Свердловская пересыльная тюрьма. При обыске у меня исчезает мой лучший «наряд». Ладно, нам не привыкать.

Приводят в камеру. Тут уж буквально яблоку пасть негде. У одной стены стоят железные койки, а все остальное пространство занято сидящими прямо на полу женщинами. Койки для больных, и на одной из них оказывается Элла Ш., которая была с нами в Томске, но отправлена была с предыдущей партией. В Томске мы почти не разговаривали друг с другом. Знала, что она первая из женщин Советского Союза стала инженером-высоковольтником. И вот Элла подбегает ко мне, тащит к своей койке, укладывает рядом с собою и, лихорадочно блестя своими огромными серыми глазищами с темными подглазьями, начинает горячо шептать на ухо: «Ты ничего не

знаешь? Нас предали, заключили договор о дружбе с Гитлером. Ты скажи, ради этого всех коммунистов посадили в тюрьму? Ну что ты молчишь, говори, говори!» А я онемела. Смотрю на Эллу и думаю: вот почему она на койке — она сошла с ума! Да, я никак не могла принять ее слова за правду. Но постепенно она начинает довольно связно рассказывать все то, что вычитала из случайно найденных ею старых газет, и я чувствую, что «сумасшествие» начинает овладевать и мною. Все что угодно можно было ожидать, но договор о дружбе с фашистами, раздел Польши с теми, кто, сжигал книжки Маркса, беспощадно расправлялся с коммунистами, устраивал еврейские погромы, с нашими злейшими врагами и врагами мирового рабочего движения — к этому мы были совершенно не подготовлены!

Так мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, ища друг у друга объяснений и поддержки от свалившегося на нас ужаса. Мы попали с Эллой в один этап, прожили вместе в Котласе до мая 1940 года.

* * *

Итак, мы уже в Котласе, на перевалочной базе. Навигация кончилась. Дальше будем двигаться весной, вернее, летом, а пока остаемся зимовать в палатках. По площади палатки не уступают барачу среднего размера. Сделаны из двойного брезента и по низу обшиты досками, но все же в дождливую погоду промокают насквозь, а зимой в них, конечно, замерзает вода, а с нею вместе и люди. Отапливается двумя железными печурками, но ночью, к сожалению, топить не разрешается, поэтому работа в ночной смене для нас праздник. А работаем мы в овощехранилищах, перебираем картошку: обрываем ростки и отделяем гнилую. В овощехранилище температура близка к нулю, но не ниже нуля. Зато сырость, запах гнилой картошки тоже мало радует. Нас за ударную работу кормят три раза в день горячей пищей. Иногда даже дают пирожок с картошкой или капустой. Это не Томск, но все же... «Наши бедные желудки были вечно голодны», и вид картошки нам покоя не давал. Уносить в палатку совершенно невозможно, так как нас постоянно обыскивают. Едим сырую, прямо в овощехранилище. А потом начинаем приспособливаться: в каждом отсеке, где происходит сортировка картошки, горит керосиновая лампа-молния; из проволоки сделали сеточки-подвески и печем картошку. За 10 часов работы каждая из нас получает по крайней мере по одной большой полной картофелине. Какая прелесть! Но... подводит запах печной картошки. Приходит начальство и угрожает всякими страшными наказаниями за один этот запах: самое картошку им так во всю зиму и не удалось засесть — у обоих входов выставлены пикеты. Условный сигнал, картофелины моментально снимаются с ламп и надежно прячутся, а конвоиры ни за что не выдадут нас, они тоже любят печеную картошку...

В Котласе, в палатках, люди менялись и менялись. Встреч было очень много. Расскажу о самых запомнившихся.

Раньше всего — больная раком матка немка. Она уже была очень плоха, лежала на нарах с обильными кровотечениями, молила, чтобы ее отвезли в больницу на операцию, но так и не дождалась... Но мучилась она, может быть, не столько из-за своей болезни, сколько из-за роковых вопросов: как это могло случиться, что ее, коммунистку, ее мужа и других товарищей, тоже коммунистов, бежавших от Гитлера в Советский Союз, посадили в тюрьму? Посадили еще задолго до заключения договора с Гитлером — в 1937 году. Она мучилась сама и мучила других, больше всего меня: «Мы иностранцы, мы многого не понимаем в вашей стране, но ведь вы-то должны знать, как все это произошло?» И никак она поверить не могла, что и мы ничего не понимаем. Эту немку, конечно, мне не забыть.

Я еще тогда не знала, как много иностранцев, искавших в Советском Союзе убежища, оказались за решеткой, - не знала, в частности, что прославленный и всемирно известный венгерский коммунист Бела Кун тоже погиб в 1939 году.

Позднее несколько месяцев с нами в палатке жила большая группа эстонок, которые в ответ на наши вопросы, какая статья за ними числится, посмеивались: «Не знаем».

Работала с нами вместе на картошке пожилая женщина, большевичка с дореволюционным стажем. До ареста была культпропом Куйбышевского обкома партии. Ей были предъявлены самые страшные обвинения: террористка, вредитель и т. д. Она долго ничего не подписывала, но в конце концов решила, что надо во что бы то ни стало выбраться из Куйбышевской тюрьмы, чтобы иметь возможность написать Сталину и покончить с издевательствами над своей седой головой. Ради этого она и решила подписать сочиненные следователем «показания». Дали 15 лет. Отправили на север через Котлас. И вот она уже полгода пишет Сталину, пишет в другие инстанции, но ответа ниоткуда. Таких случаев, когда люди считали, что имеют дело с местными извращениями, и старались любой ценой, вплоть до самоклеветания, выбраться из первого места заключения, было немало.

Женщина — крупный научный работник (назову ее К.) — арестована была в 1938 году. Ей предъявляется обвинение в подготовке террористического акта против Молотова. Она не признает себя виновной, так как обвинение действительно — чудовищная выдумка. Ей зачитывают «обличающие» показания одного из лучших ее друзей — работника Коминтерна. В подлинности его подписи она сомневаться не может, и ничего, кроме омерзения, глубокого разочарования в товарище, эти показания вызвать у нее не могли (она еще была новичком и не знала, как вымогаются такие показания!). Сама она никаких ложных показаний не подписывает. «Следствие» ведется интенсивно. Ее сутками держат без сна и еды. После одного из таких сеансов, когда ей, совершенно измученной бессонницей и стоянием на ногах, разрешили присесть, в комнату вошел человек с седой головой очень внушительного, импонирующего вида. Подошел близко к ней, уставился в нее большими умными глазами, а затем, кинув с презрением: «Как вам не стыдно?!» — плюнул ей прямо в лицо. У К. - очень сильной и много испытавшей женщины - началась истерика. Кричала: «Что я сделала, чем я виновата?» И тут ей подсунули бумажку, которую она и подписала в состоянии гипноза (в последнем можно не сомневаться). Привели ее в камеру. Свалилась и проспала около суток. Ее товарищи по несчастью уже понимали, что с нею случилась беда, и, как только она проснулась, стали ее расспрашивать, заставляли шаг за шагом вспоминать ход допроса, и... можете себе представить ее ужас, когда она вспомнила все. Тут уже пошла обычная история, требование бумаги, чернил, писание заявлений... Финал — 15 лет заключения.

Мать К. и ее братья по настоянию матери распродали все ценные вещи, чтобы нанять самого «дорогого адвоката. Перед отправкой К. в 1939 году получил единственное свидание с матерью, и та ее спросила «Что же, адвокат тебе ничем не помог?» К. опешила - она даже не знала о существовании договора с адвокатом. Вернулась она после реабилитации только благодаря тому, что не попала в особорежимные лагеря. Была восстановлена в партии. Получает персональную пенсию и ведет пропагандистскую работу. Об этом я узнала от самой пострадавшей, которой верю как себе самой.

Мне в какой-то степени понятно, что побуждало Сталина к злодеяниям. Мне понятно также, что можно было вызвать в народе психоз недоверия, искания врагов везде и всюду. Но я снова и

снова задаю себе вопрос, откуда брались «кадры» нравственных палачей (не говоря уже физических), которым могла бы позавидовать любая инквизиция?

Кто они? Будущие власовцы? Полицаи? А может быть, «верные сыны Родины», выпестованные Сталиным, делавшие свое черное дело во имя его торжества, с которым они отождествляли торжество коммунизма?

Могут сказать: так было и так будет. Тираны всегда находили армии палачей: инквизиция, опричнина, фашизм, сталинщина, тридцать седьмой год...

«Так было, так не должно быть!» — говорим мы. Народы мира в конце концов научатся управлять своей судьбой без тиранов и палачей.

* * *

Среди других встреч особенно волнующей была одна. В отличие от Томска, в Котласе не только разрешали играть в шахматы, но даже устраивали шахматные турниры. И вот в списке участников турнира вижу фамилию Крумин. Неужели тот самый? Недолго думая, записываюсь на турнир, чтобы иметь возможность попасть в клуб. Он! Гарольд Иванович Крумин — член партии с 1909 года. Знаю его как редактора «Экономической газеты» еще при жизни Ленина, редактора «Правды» (после Бухарина Троцкий иронизировал: «Круминизированная «Правда»»). Затем он попал в Свердловск уже в какой-то степени опальным. Был до раздела области председателем Уралплана, а затем Челябинского облплана. Коган работал непосредственно под его руководством, и надо сказать, что отношения у них были хорошие.

Встреча в Котласе нас обоих обрадовала, удивила и... огорчила. Гарольд Иванович очень постарел, явно сдал, хотя пытался улыбаться. Работать вместе с другими мужчинами грузчиком он не мог, оставался дневалить в палатке (в Котласе дневальный не то что в Томске — он делал самые черные работы: убирал помещение, выносил помои, приносил воду, пищу и т. д.). У дневального, как у «паразита», паек был ничтожно мал. Правда, работающие ЗК частенько делились с ним своим пайком. В общем Г. И. не жаловался... Много читал, вот и в шахматы играл и взял первенство в турнире. Удалось нам с ним встретиться еще пару раз. Когда меня отправляли в этап, он издали наблюдал за «построением» и помахал мне рукой. Вид у него был такой, что я поняла — долго не протянет.

После XX съезда в центральной печати стали появляться запоздалые некрологи на безвинно погибших при терроре крупных советских и партийных работников. Крумину также был посвящен некролог (к какой-то памятной дате его жизни). В нем, между прочим, сообщалось, что дочь его получила последнюю открытку из Котласа в 1943 году. Дальше след простыл...

* * *

Прежде чем попасть в Ухтижлаг, мы прожили недели две на распределительном пункте в Усть-Выми. Решительно не помню переезда туда на пароходе из Котласа. Полное затмение. Зато хорошо, даже отлично, помню все, что было на распределительном пункте. Два бревенчатых здания, похожих на старые конюшни. Пол земляной. Двухэтажные нары, но между ними столько свободного пространства, что хоть табун лошадей загоняй. В одной конюшне женщины, в другой — мужчины. Между ними никаких проволочных заграждений. Это совсем ново и непривычно.

Сидим на бревнышках, греемся на весеннем солнышке (июнь), оживленно беседуем с новыми знакомыми. Среди мужчин сразу выделяются две личности: старик профессор фармакологии и инженер-строитель средних лет Иван Иванович. Первый — большой знаток поэзии, и особенно Беранже. Когда читает «Мой старый фрак», держась дрожащей рукой за лацканы своего рваного пиджака, по его щекам текут слезы, а уж о нас, грешных, и говорить нечего...

На днях слушала по телевидению «Мой старый фрак» в исполнении Игоря Ильинского. Оно не нуждается в рекомендациях. Но куда уж Ильинскому до старика фармаколога!

Вот когда я убедилась, что мои оценки не преувеличены, что они полностью соответствуют качеству исполнения! И все объясняется очень просто: для того чтобы исполнить «Мой старый фрак» в полном соответствии с трагическим смыслом его, надо было самому пережить глубокую, потрясающую трагедию, так же как «Я знаю солнце» никто не исполнит так, как матери, потерявшие детей.

А Иван Иванович специалист по Чехову. Да еще какой! Такие большие вещи, как «Палата № 6», читает без запинки наизусть. Читает великолепно, но мне, признаться, даже хотелось, чтобы он заглядывал в книжку: его феноменальная память сама по себе так поражала, что Чехов временами как-то отходил на задний план.

Вот так «безмятежно», среди интересных людей мы прожили несколько дней, пока до нас не дошли (не помню уж какими судьбами) несколько номеров газеты «Правда». Газеты ужасные — о падении Парижа. С примерно такими заголовками: «В Париже спокойно», «Беженцы возвращаются в родные места», «Жизнь французской столицы нормализуется» и т. д. Ни слова осуждения по адресу оккупантов!

Нашей «безмятежности» как не бывало. Как будто кипятком облили. И уже Беранже не согревал и Чехов не нужен был...

Возможно, наше соглашение с Гитлером было неизбежным следствием той позиции, которую занимали тогда (в 1939 году) Англия, Франция, Польша. Допускаю, что и неизбежно. Но не сомневаюсь в том, что Советское правительство зашло слишком далеко в моральной поддержке Гитлера, в оправдании его захватов в Европе. Вспомним хотя бы заявление Молотова о Польше — рухнуло «уродливое детище Версальского договора». Молотов попал здесь в весьма непочтенную компанию, о которой писал еще Маяковский: «На польский глядят, как в афишу коза: откуда, мол, и что это за географические новости?» История этого не забудет, не забудут этого и современные рабочие мира.

* * *

Наступили дни распределения. Тут я особенно почувствовала тепло человеческих сердец. Дело в том, что заключенные с какими-либо дефектами здоровья отправлялись в лагеря инвалидов, где жилось, очевидно, не лучше, чем в Томске.

Женщины всполошились из-за меня раньше, чем я сама подумала об угрожающей мне опасности попасть в эти лагеря, если будет обнаружена моя тугоухость («глухой» меня тогда еще не считали). Началось обсуждение всяких проектов помощи мне во время разговора на комиссии. Конечно, все сводилось к тому, что кто-то будет мне подсказывать в случае необходимости. Обсуждали, кто лучше сумеет это сделать. Но все кончилось тем, что я попросила ничего не предпринимать и держаться подальше от «экзаменационного стола». Очередность вопросов в анкете мне была

хорошо известна, а если какой-нибудь непредвиденный вопрос не сразу расслышу, беды не будет.

Как радовалась вся публика, когда оказалось, что никто из членов комиссии ничего не заметил, и я благополучно получила назначение в «производственные» лагеря.

Правда, тут вышел маленький курьез. Было объявлено, что я назначаюсь на завод концентратов. Спросила, что это значит. «На месте узнаете». И вот мы гадали: соки, витамины, каши? Что это за концентраты будет производить металлург? Уже на месте я узнала, что завод концентратов производит бромид радия. Конечно, и это не по моей специальности, но все же ближе, чем «соки-воды».

Было еще очень неприятно, что из жен я одна попала на «Водный промысел», где находится завод концентратов.

* * *

Из Усть-Выми нам предстоял этап пешим порядком. Кажется, до Княже-Погоста. Из Княже-Погоста мы ехали на открытых железнодорожных платформах. Вид открывался довольно унылый: много горелого леса, сухостоя. Все здесь казалось гиблым. И мы шутили, что если бы на остановке кто-либо случайно отстал от состава, то, наверно, побежал бы за поездом с криком «Караул!».

Хорошо запомнила, что в Ухту мы приехали 9 июня и кто-то сказал, что сейчас местное время 1 час 30 минут. На горизонте было солнце, но мы так и не поняли, что встретили — вечернюю или утреннюю зарю... 64-я параллель...

Еще пара часов езды на грузовике, и мы на «Водном промысле». Знакомых осталось совсем мало. Больше других я знала химика из Казани, преподавателя университета Галеева. Его сразу назначили в центральную химическую лабораторию, обслуживавшую не только радиевый промысел, но и геологоразведочное управление, нефтепромыслы и прочие предприятия, подведомственные ГУЛагу.

А со мною — задача. Черной металлургии там нет. Прошла через всякие мелкие работенки, и наконец по рекомендации Галеева меня вызвал к себе начальник ЦХЛ Торопов и мы с ним договорились о работе в лаборатории.

Удивительно интересный человек был этот Торопов! Разносторонне образованный, он обладал многими талантами, среди которых, пожалуй, самым главным было Умение организовать людей таким образом, чтобы каждый использовал все свои творческие способности в максимальной степени. Он не приказывал и не упрашивал. Он ставил задачу, а в выполнении ее предоставлял максимум свободы подчиненным. Конечно, наблюдал за выполнением, но издали, всячески избегал мелочной опеки. В своей лаборатории каждый из нас чувствовал себя хозяином в гораздо большей степени, чем в своем жилище. Умудрялись даже стирать в лаборатории, варить собранные в лесу грибы, огородничать на лабораторном дворе и т. д., но никогда не забывали прямо-таки священную для нас заповедь: «Торопова не подводить». А если нужно было своими руками ремонтировать, окрашивать, мыть лабораторию, то мы это делали не только без нажима, но даже в иных случаях по секрету от Торопова, чтобы не огорчать старика.

А он заботился о своих сотрудниках и в первую очередь о приличном жилье, о талонах в столовую ударников, об одежде.

Никто, даже из мужчин, работавших в ЦХЛ под эгидой Торопова, не перешел в разряд «доходящих». Я пишу «даже» не зря: кто был в общих лагерях, тот знает, что в одних и тех же условиях мужчины оказывались менее выносливыми, чем женщины. Объясняется это многими причинами, среди которых и меньшая требовательность женского организма, и большая приспособленность к жизненным условиям, и умение жить самостоятельно, чего нельзя сказать о мужчинах, о оставшихся без женского ухода и т. п.

Часто очень быстро сгорали не слабые, а наоборот, очень сильные, здоровые мужчины. Обычно они долго не сдавались цинге, но, уж если она такого человека схватит, спасения не жди.

Запомнился ЗК Котов. Рано утром, бывало, иду к кубовой за кипятком и вижу его бегающим в одних трусах по морозу, умывающимся снегом или ледяной водой на улице. Здоровый, сильный человек, спортсмен. И вдруг встречаю его с распухшим бледным лицом, еле волочит ноги. Странно так, виновато улыбается: «Дохожу, С. А.» Что случилось? «Письмо плохое из дому получил, руки опустились, а цинга тут как тут». И уж ему ничем не поможешь. Пройдет несколько дней, и его отвезут в лагерь инвалидов. Случай этот довольно типичный.

Повторяю, в ЦХЛ благодаря заботам Торопова люди сохранялись лучше, чем на других участках.

* * *

Я долгое время жила вдвоем в крошечной комнатухе с инженером-электриком Ольгой Христофоровной Янсон. Ольга — латышка, примерно 1900 года рождения, человек с очень интересной биографией. Когда началась первая мировая война, ее послали из деревни, где она жила, в Ригу за запасом мыла и керосина. Все закупила, но домой уже вернуться не успела: деревня оказалась по ту сторону фронта. Осталась в Риге у тетки, которая вскоре эвакуировалась в Россию. Тетка устроилась прачкой у каких-то графов, а затем и Ольгу взяли в дом горничной. Здесь она узнала первые унижения подневольного труда. На ее беду оказалось, что старую графиню тоже зовут Ольгой. Господа стали давать молодой Ольге новые имена — не звать же горничную так, как графиню. Ольга не соглашалась, не отзываясь на новые имена, но ее в конце концов уговорила тетка согласиться на имя Леля. Повязала бант в волосах точно так, как это делала графская дочка. Скандал — горничная не должна подражать господам. Но самое страшное было впереди, когда молодой барчук стал приставать с ухаживаниями.

После февральской революции Ольга решила во что бы то ни стало найти себе другую работу. Господа собрались на лето в имение, она отказалась следовать за ними. Ее все же не уволили, разрешили остаться в Питере, в их доме. Ольга скоро нашла своих друзей и покровителей среди красногвардейцев, устроилась на работу на Путиловском заводе, вступила в партию большевиков, была одной из активных участниц Октябрьской революции.

Примерно в 1920 году ее — уже достаточно подкованную коммунистку — отправили на подпольную работу в Латвию. Проработала там пару лет. Тюрьма. Обмен на латыша, сидевшего за преступления в советской тюрьме. Работа и учеба в СССР. Снова Латвия — подполье, и снова тюрьма в течение 5 лет. Здесь у нее и родилась дочка. В 1932 году снова обмен. Приехала в СССР целая группа обмененных Советским Союзом заключенных из латышских тюрем. Встречали с музыкой, цветами. Ольгу взяли на работу в Оргбюро ЦК партии. Одновременно она поступила в вечерний энергетический институт. Только успела закончить его — арест. Уже не в Риге, не как подпольщицу, а в Советском Союзе.

Арестованы были все известные ей латыши, очевидно, именно как латыши.

Не стану рассказывать о том, как мы прожили с нею вместе более двух лет (до моего освобождения). Скажу только, что для меня было большим счастьем иметь соседкой такого разумного и во всех отношениях чистоплотного человека.

В сороковом году, когда Латвия вернулась в лоно Советского Союза, Ольга написала письмо родным, конечно не сообщая им, где она находится. В ответ пришло письмо от старушки матери и от сестры. Мать писала: «Наконец-то открылись ворота нашей тюрьмы...» Эти слова я никогда не забуду. Мать не знала, что за дочерью снова закрылись ворота тюрьмы. Она звала ее поскорее приехать повидаться...

Когда я в 1943 году уезжала из Ухты, Ольга написала своей дочери в Свердловск: «На свободу вышла твоя вторая мама». Она очень надеялась, что я заберу к себе ее дочь, но если вы будете читать дальше, то поймете, как тяжело сложилась моя жизнь и что мечта Ольги не могла осуществиться.

Я и сейчас переписываюсь с Колумбовной, как мы ласково называли Ольгу в Ухте не только за ее отчество (Христофоровна), но и за ее монументальный вид.

* * *

Перевод в лагеря общего типа принес мне большие радости. На первое же мое письмо в Одессу я довольно скоро получила ответ: Феликс в Гайсине у сестры Лизы, Шурик — в Одессе у моей матери. Здоровы, все в порядке. Мама даже мне написала своей совсем неумелой рукой, что она ходит с Шуриком в парк и угощает его там кефиром с булочками.

Почти 3 года прошло с тех пор, как я рассталась с детьми, и вот наконец это письмо.

Затем пришло письмо от Феликса. Фотокарточка с надписью: «Снимали для галереи отличников» (школьной). Фотография прекрасная: возмужалый, похорошевший Фелюша, умные, пронизательные глаза. На «сиротинку» совсем не похож.

Пришло письмо с фотокарточкой Шурика. Стоит во весь рост в матросском костюмчике, обувь, конечно, добротная. Личико несколько напряженное, но это от необходимости позировать перед фотоаппаратом. Разве это можно сравнить с той злосчастной фотокарточкой, которую я получила в Томске? Мои дети живы, здоровы, ухожены!

Шурик даже рисунок прислал с восходящим солнцем и подписал его: «Ресовал твой сын Шура».

В общем, была короткая пора, когда я понимала, каким счастливым можно быть и в несчастье.

Тогда я еще не допускала мысли, что Иосиф не вернется. Должна же когда-нибудь восторжествовать правда. Вернется, и соберемся еще все вместе дружной семьей.

И к работе у меня какая-то жадность была. Я ведь не химик. Пришлось многому учиться, и учителя у меня были отличные: Федор Александрович Торопов, о котором я уже говорила, и мой непосредственный начальник, заключенный О. Последний был довольно своеобразный и, по мнению многих, даже скверный человек, но очень знающий и умелый химик и вообще образованный «дядька»: большой знаток истории культуры, в частности, живописи, поэзии.

Несмотря на эгоистический характер, он охотно передавал свои знания всем, кто только хотел всерьез учиться. При этом он своим ученикам и помощникам говорил: делайте только так, как я

вас учу, но ни в коем случае не копируйте мои приемы в работе. Это было совершенно справедливо: он имел право отступать от буквы инструкции, так как знал, где и в чем можно отступать.

* * *

Наступил роковой день 22 июня 41-го года. Большинство из тех кто имел индивидуальный пропуск и выходил на работу без конвоя, были в этот воскресный день на работе, так как требовалось выполнить какие-то срочные задания. Торопов тоже сидел в своем кабинете.

Часа в 2 дня пришел к нам в комнату М. И.— бывший крупный военный работник, а в то время отборщик проб для ЦХЛ на химических заводах, изготавливавших полуфабрикат для завода концентратов. Отозвал к двери О. и стал ему что-то шептать. Я не обращала на них внимания но вдруг послышалось слово — «война»!

Я к ним:

- Что, что вы сказали?

- Да, Софья Ароновна, не хотелось вас огорчать, но ведь вы все равно узнаете — немцы напали на Советский Союз!!!

- Где, что?

- Украина, Белоруссия.

- Мои дети!..

Бегу к Торопову — помогите немедленно отправить «молнию» в Одессу, Гайсин. Он очень подавлен известием о войне, но все же отправляется на почту, чтобы выполнить мою просьбу. Но тут оказывается, что никаких телеграмм на Украину не принимают.

Торопов меня успокаивает — это не потому, что Украина отрезана от СССР, а потому, что в лагерях объявлен особый военный режим. Приходится верить.

В понедельник утром объявляют, что отменены все виды пропусков. Все предприятия до особого распоряжения закрыты, на работу выходят под конвоем только занятые на самообслуживании, всем остальным оставаться в бараках, на своих местах. Ничего хорошего это распоряжение не сулит. И действительно. Ночью (ночи в это время там белые) выглядываю в окошко: усиленное движение, то из одного, то из другого барака выводят людей под конвоем. Аресты! Мы с Олюшкой уже не спим, наблюдаем. Вот вывели О., М. И. и многих, многих других знакомых. В эту и в последующие две ночи были «арестованы» несколько сотен заключенных. Многие из них вернулись потом на свои места, многих перевели в другие лагеря (в порядке обмена, аресты были везде), а некоторые были расстреляны, в том числе и О.

В последнем случае, возможно, сыграло роль то, что он сразу, как узнал, что началась война, заявил: «Ну, теперь полетят и наши головы». Слышала это не я одна. М. И. благополучно вернулся на свое место, так же как и другой близкий друг и подопечный О.

К концу недели нас повели под конвоем на работу. Без О. стало еще труднее работать, но ведь жизнь требовала своего, и железную необходимость делать во время войны все лучше и быстрее сразу почувствовали и мы, находившиеся за тридевять земель от нее. Предприятие наше сразу

было переведено на военное положение, но не внешние, а внутренние побуждения заставляли еще и еще подтянуться и выжимать из себя самого максимум возможного.

Мучило неведение. Правда, 2 июля в бараки принесли «тарелки» — репродукторы, и мы слушали речь Сталина. Это было для нас колоссальным событием не только потому, что узнали из нее многое, но и потому, что почувствовали себя в какой-то степени причастными к тому, что происходило в стране.

Но эта речь вместе с тем разбередила все наши раны: мы-то были лишены возможности участвовать непосредственно в борьбе с врагом! Вся страна поднята на дыбы, наши самые близкие люди где-то далеко борются, страдают, гибнут, а мы в стороне!

До сих пор, когда вспоминаю о войне, не могу победить в себе чувство какой-то вины перед теми, кто воевал, погибал на фронтах. Но что я могла делать в годы заключения, кроме того, чтобы утроить усилия в производственной работе?

Многие мужчины подавали заявления об отправке на фронт, но отправляли... только уголовников и бытовиков.

Неожиданной радостью — последней в те годы — было для меня письмо от сестры Лизы из Гайсина, датированное 28 июня. Сестра писала: «Все уверены в том, что немцев скоро прогонят, а поэтому и не думают даже об эвакуации, сегодня утром ходили на базар, купили чудесную клубнику и сметану, все спокойны и просят меня не беспокоиться».

Я хотела этому верить, но не могла. К моменту, когда я получила письмо, моих родных в Гайсине уже не было: эвакуировались сестра с мужем, престарелый отец его и двое детей — дочка сестры 12 лет и мой сын Феликс 11 лет. Моя мама с Шуриком в момент начала войны были тоже в Гайсине, но они поспешили вернуться в Одессу, откуда эвакуировались вместе с семьей брата (брат остался на обороне Одессы) и вместе с семьей! сестры Софы, муж которой был уже на войне.

Обо всем этом я узнала значительно позднее. Про шел целый год, пока я получила первую весточку о Феликсе, и полтора года до получения адреса Шурика. За это время моими сыновьями было очень много пережито.

* * *

Итак, я в Ухте, а дети опять потеряны мною. Пишу без конца запросы в Москву, в Бугуруслан. Ответа не получаю. Был как-то такой случай: Торопову позвонили с почты, что пришла телеграмма с фамилией адресата, похожей на Швед. Так как по спискам ЗК известно, что в его ведении находится Швед, пусть пришлет кого-нибудь за телеграммой. Торопов не поленился, сам пошел на почту. Прочитал: «Дети и мама в Москве» — и, не вникая во все остальное, решил, что телеграмма действительно для меня. Принес ее весь сияющий: «С. А., для вас радость!» Взяла, прочитала и поняла — не мне...

Торопов сидел возле меня, тысячу раз извинялся, раскаивался в своей оплошности, и у самого слезы текут.

* * *

Я никак не могла решиться написать в Челябинск. Очень боялась, что они уже и так пострадали из-за Иосифа, из-за поездок Сони и Абраши в Свердловск (я в свое время забыла рассказать, что за несколько дней до моего ареста Абраша, муж Сони Бураковой, приезжал к нам в Свердловск). Но в конце концов иного выхода уже не было, и я почти без всякой надежды на то, что челябинцы имеют какую-либо связь с моими детьми, написала им письмо. Прошел месяц, другой. Ответа нет. Все, больше никаких надежд. Обо всяком я тогда думала... И вдруг приходит «воспитатель», держит в руках разорванный конверт: «Пляшите, Швед».

Я даже подумала, не издевка ли это, но нет — в розовом конверте оказалось четыре листочка, исписанные сестрами Иосифа — Евой и Соней. Ругали за то, что долго не писал, и, главное, извещали, что Феликс жив, хоть и не очень здоров, живет в Казани со Стасей, а сейчас находится в Сысерти в санатории, что со временем его заберут Челябинск. Нашелся!!! Но о Шурике не знают ничего.

2 сентября кончался срок моего заключения. Если до письма из Челябинска я об этом даже не вспоминала, то после него я уже начинаю строить какие-то планы. А пока нас водят на работу под конвоем, и конвоир - голодный старикан из ближней деревни — сидит целый день в коридоре, караулит «преступников». Вечером, когда извращаемся в зону, замечаем, что с ним что-то неладное делается: пьяный не пьяный, а пошатывается. Стали мы его шутя исповедовать, и он признался: «Куриная слепота у меня, понимаете; говорю я начальнику, ослобоните, ради Христа, от этой службы, а он ни в какую, некем, говорит, заменить, а про вас, грешных говорит: «Ты их, Степан, не бойся, они люди смирные и тебя доведут!» Ну и пошло тогда смеху: «Арестанты смирные — конвоира доведут». Вот ведь как: и верили нам и делали вид, что считают нас чуть ли не террористами, врагами народа.

* * *

Меня известили об освобождении не 2-го, а 10 сентября. Получила справку об освобождении, в которой, к удивлению всех, не было примечания: «Остается по вольному найму до окончания войны в ведении Ухтижемлага. Мне говорят, что это просто по чьей-то рассеянности, из Ухты все равно не выпустят. И действительно, паспорт я получаю временный, на полгода, пособия на отъезд не дают и т. д. Оформляюсь на работе, но тут же начинаю хлопотать о разрешении на отъезд. Меня уговаривает Торопов: «О маленьком сыне вы все равно ничего не знаете, а старшего мы вам привезем из Казани». И действительно, вскоре отправляют продукцию завода (0,5 г в пересчете на чистый радий). Едут в Казань ответственное лицо и несколько стрелков, и старшему из них дается предписание привезти Феликса. Большого я в то время действительно ожидать не могла, тем более что обещали привезти и Шурика, как только он найдется. Даю деньги на билет, весь пайковый сахар, сало для Феликса, вольнонаемные присоединяют еще свои гостинцы, и жду моего сына.

Дали мне отдельную комнату. Как я ее тогда белила, мыла, «шоркала»! Феликс ведь в ней будет жить! Со склада выдали напрокат койки, постели, табуретки, столик. И сколько людей мне тогда от всего сердца старались помочь!

Возвращаются из Казани. Нет Феликса. Не нашли. Все. Кончились мои радости.

Забыла написать, что адрес, который я получила из Челябинска, посмотрел Галеев — уроженец Казани — и сказал, что это совершенно невероятно, чтобы там жили зимою люди. Это бараки, в

которых ночуют рыболовы-любители. Но ведь Феликс действительно там жил и позднее написал мне, что они «воровали уголь из охраняемых куч», чтобы отопить эти злосчастные бараки.

Так или иначе, не нашли.

Вскоре после этого мне сообщили, что Феликс уже в Челябинске. О Шурике все еще ничего не знаю. Но и тут помогли челябинцы: очевидно, на запросы из мест заключения не считали нужным отвечать даже об эвакуированных родственниках, а вот в результате запроса кого-то из челябинцев я в начале 1943 года получила телеграмму из Чирчика от сестры Ривы: «Мама Шуриком Лизой семьей находятся Коканде», и адреса — свой, кокандский. Оба сына найдены, оба живы!!!

Из Коканда первое же письмо сильно настораживает. Сообщают что мама во время эвакуации стала хворать (ей уже под 70 лет), прибалывают и все остальные. Следующее письмо — тяжело болен муж сестры: воспаление легких. Я перестаю обедать в столовой, получаю «сухой паек», сушу сухари (голодание — моя вторая профессия) и стараюсь как можно больше сберечь для кокандцев. Благо, наш Вовочка тоже в Коканде, в военной авиашколе, и на его адрес можно послать посылку (в военное время посылки принимались почтой только для военных). Но что могли дать мои посылочки для большой изголодавшейся семьи? Уже позднее я узнала, как тяжело им жилось и как достался Коканд моему славному Шурику.

А от Феликса письма великолепные. Чувствовалось, что мальчик отдыхает от всех тягот эвакуации в зажиточной семье Бураковых. И приписки Сони к его письмам свидетельствовали о том, что мальчик ее не тяготит, а наоборот, радуется. За Феликса я могла, казалось бы, быть спокойной. Но не тут-то было! Я все-таки боялась, что он в конце концов будет в тягость родственникам - они жили четвером в одной комнате. Помнила я и о том, что моих мальчиков в 1938 году зачем-то увезли из Челябинска в Одессу (подробности мне не были известны, но сам факт для меня уже не был секретом). Тосковала и рвалась я тогда к обоим сыновьям, хотя положение их было далеко не одинаковое.

В Ухте я больше сидеть не могу. Пытаюсь «придраться» к тому, что у меня в справке об освобождении нет оговорки об оставлении в Ухте до окончания войны. Хожу (изредка только удается попасть на попутную машину) за 25 километров в Ухту - центр Ухтижемлага- с «челобитными». Отказывают. Снова хожу, сдать невозможно. Призываю на помощь Торопова, он обещает. Но вот в один из моих походов в Управление лагерей секретарша, уже хорошо знавшая меня, показывает мне письмо Торопова, в котором написано, что надо помочь Швед перевезти ребят в Ухту, но ни в коем случае не отпускать совсем с работы. Как же я тогда на него рассердилась: «Ханжа старая, со мною слезы проливал, а отпускать не велит! Ну, обойдусь без его помощи».

И тут я решила попытаться использовать болезнь ушей. Пошла к врачу, пожаловалась на ухудшение слуха (это была правда) и сама продиктовала ему справку: «В связи с прогрессирующей глухотой нуждается в срочном лечении в городе, где имеются специальные отоларингологические лечебницы». Направили на комиссию при Центральном управлении лагерей. И ничего другого комиссия сделать не могла, как скопировать в своем постановлении ту же справку. Вопрос был решен. Оставалось получить только постоянный паспорт (хотя бы годичный) и получить вызов из Челябинска и Коканда, без чего тогда нельзя было получить пропуск на поезд.

Вызов из Челябинского облисполкома Ева, сестра Иосифа, прислала довольно скоро, а вот из Коканда вызова нет и нет. Я не знала еще тогда, что Шурик находится в детском доме. Администрация детских домов обычно охотно устраивала такие вызовы родителям, а вот сестра моя не сумела все сделать в срок. Дальнейшее ожидание вызова из Коканда могло привести к тому, что окажется недействительным вызов из Челябинска. Что делать? Отправляюсь в Ухту, в районную милицию, и прошу дать мне пропуск в Челябинск через Коканд (!). Большая географическая карта висит у инспектора милиции за спиной. Он долго ищет Коканд (моей помощи не просит), делает вид, что нашел (не срамиться же перед посетительницей), и пишет пропуск через Коканд в Челябинск! Пропуск действителен и на обратный проезд в Ухту. (Тут я должна заметить, что, хотя очень сердилась на Торопова, все же вняла его благоразумному совету и взяла пропуск на обратный проезд, опасаясь, что в другом месте мне не удастся устроиться на работу и придется вернуться в Ухту вместе с сыновьями. Он, между прочим, предлагал мне и Денег на проезд, но от них я отказалась.)

Прежде чем расстаться с Ухтой, хочется рассказать об одном интересном экспонате «зверинца» Ухтижемлага.

Сестра знаменитой балерины Кшесинской — фаворитки Николая II. Не запомнила даже ее имя и фамилию, настолько все затмило слово «сестра». Сама она, очевидно по младости лет, при царе не успела стать никакой знаменитостью. В лагере выбрала себе должность конюха и отлично справлялась с нею. Должно быть, еще в детстве она пристрастилась к рысакам собственной конюшни, а может быть, и обучалась верховой езде.

Вид у этой еще молодой женщины был отталкивающий. Грубое, обветренное лицо, неряшливая одежда (измазанные в навозе брюки кое-как заправлены в брезентовые сапоги или в латанные-перелатанные валенки; бушлат перепоясан широким солдатским ремнем; из шапки-ушанки лезут клочья ваты...).

Жила она отдельно от нас, где-то возле конюшен. Говорили, что она умеет виртуозно использовать «матушек» в разговоре, и не только с конягами...

Зато, встречая нашу артистку-лингвистку Лизу Бржестовскую, она останавливала лошадей и, не вылезая из телеги, церемонно заводила салонный разговор на французском, немецком или английском языке! Благодаря «сестре» нам частенько доводилось хлебать вкусный кисель из овса, который она время от времени подбрасывала в наши «ясли». Исчезла она в первые дни войны, как и многие другие.

* * *

6 лет моей жизни без детей занимают в моей памяти большее место, чем остальные 60 лет. Правда, к 6 годам следует прибавить еще 2 года между арестом мужа и моим.

И как тут снова не вспомнить Блока: «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Забыть не можем, хотя со всех сторон слышали: «Забудьте, забудьте!»

И нельзя забывать того, что Сталин, бывший когда-то соратником Ленина, пользуясь неограниченным доверием народа к партии большевиков, превратился в тирана.

Помните и псов в образе людей, которые способны были без зазрения совести клеветать, шантажировать, вымогать любые самоубийственные показания, загонять людей в безвыходные тупики.

Помните, что окружавшие кучки псов миллионы и миллионы честных, порядочных людей не способны были противостоять им, связать их, изолировать, как изолируют взбесившуюся собаку.

Помните... Потому что никто не может дать вам гарантии, что безумие 37-года никогда не повторится.

Я пишу вам об этом в октябре 1971 года, зная, что народная молва готова простить Сталину все его прегрешения. Именно поэтому и считаю важным и необходимым рассказать о его преступлениях.

Народная молва...

Многие вообще ничего не знают или не верят рассказам о репрессиях, преследованиях честных коммунистов, простых честных людей. Другие знают и верят, но не придают значения таким «пустякам». Их близко не коснулось, значит, вообще ничего страшного не произошло.

А теперь кругом часто слышится: «Хрущеву ни дна ни покрышки, за то что он наклепал на Сталина» или «Лодыри у нас в ЖКО сидят, Сталин бы им показал!» и т. д. Имя Сталина еще и сейчас овеяно легендой для многих, и боюсь, что его преступления могут изгладиться из народной памяти. Этого быть не должно!